СИБЕРИТО

Последнее дело Остапа Бендера

Ярослав Золотарев

Ярослав Золотарёв

Хулио Сиберито

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Хулио Сиберито / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

1937 год. Сибирь, отделившаяся в Гражданскую войну, двадцать лет живёт демократической республикой: дума, суд присяжных, кооперация и вечные споры трёх партий, которые ничем друг от друга не отличаются. За Уралом — сталинский СССР, на востоке — Япония, в Европе к власти рвётся Гитлер. Остап Бендер, получивший наконец паспорт, теперь законопослушный юрисконсульт. Он собирает вокруг себя странных учеников: американского дельца, нациста, монгольского ламу, подпольного миллионера — и всем предсказывает скорую гибель республики.Третья книга трилогии после «12 сибирских стульев» и «Золотого лосёнка» — вольная переделка «Хулио Хуренито» Эренбурга. Сатира становится всё жёстче: Халхин-Гол, пакт Молотова — Риббентропа, Москва 1940 года с её очередями, доносами и «народными правительствами», нефть в тайге и Троцкий на болотах под Берёзовом. Смешная и горькая книга о том, как маленькой стране выжить между империями и почему за каждым спасением стоит человек, о котором не напишут газеты.

© Золотарёв Я., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Вступление 5
Глава первая. Моя встреча с Учителем. — Шпион и кусок серы 8
Глава вторая. Детство и юность Учителя 13
Глава третья. Доллары и Библия. — Три дня мистера Пибоди 17
Глава четвёртая. Симпатичные боги Дамдина. — Различные суждения Учителя о религии 24
Глава пятая. Васисуалий Андреевич ищет человека 32
Глава шестая. Различные суждения Учителя о любви 40
Глава седьмая. Шура Балаганов 48
Глава восьмая. Различные суждения Учителя об искусстве 54
Глава девятая. Скромный служащий, или Новое воплощение Будды 59
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Ярослав Золотарёв
Хулио Сиберито

Вступление

С величайшим волнением приступаю я к труду, в котором вижу цель и оправдание своей бестолковой жизни, — к описанию дней и речей Учителя Остапа Бендера, которого в Барселоне знали как Хулио Хуренито, а Томск, переиначив на свой лад, прозвал Хулио Сиберито.

Память моя одряхлела прежде времени. Тому виной калейдоскопическое изобилие событий последних лет, а также обстоятельства, о которых я расскажу в конце книги. Здесь скажу только, что четыре месяца казённого дома за Челябинской таможней, на баланде и без сахара, ещё ни одной памяти не пошли на пользу. Сахар там выдавали по праздникам, а праздников, по тамошнему календарю, в ту осень не случилось. Со страхом думаю я о том, что многие речи и анекдоты Учителя навеки утеряны для меня и для мира.

Но образ его ярок и жив. Он стоит передо мной, длинный и лёгкий, в фуражке с белым верхом, сдвинутой на затылок, в выцветшем японском шарфе, который он не снимал даже в июле, и в испанских сапогах, о которых ещё будет речь. Задумавшись, он трогал пальцами горло под шарфом: там был старый шрам, о происхождении которого он каждому рассказывал по-разному — то дуэль в Гейдельберге, то операция в клинике Бурденко, то неудачное бритьё в Щегловске. Он стоит и тихо усмехается. Учитель, я не предам тебя!

Я иногда ещё пишу по инерции стихи, притом на сибирском наречии. Возрождение наречия у нас в моде с середины двадцатых годов. В Томске о нём спорят три кружка и две газеты, выясняя, как по-сибирски будет «телефон», «паровоз» и «электромеханический завод», и всякий раз расходятся врагами. Правительству, занятому то кризисом, то перевооружением, а теперь войной, которая стоит у всех ворот сразу, не до наречия: законопроект о нём седьмой год лежит в согласительной комиссии, по соседству с признанием Алаша. Я тоже предлагал слова; из них привились два, и оба неприличные. Ещё я писал стихи, и одни из них даже пели. Джаз-банд ресторана «Европа» исполнял их по субботам под саксофон, не понимая ни слова; публика не понимала тоже, но хлопала. Привожу их здесь не из тщеславия, а потому, что Учитель — единственный из моих слушателей — дослушал их до конца, а дослушав, сказал, что это первая честная песня о нашем времени.

«От избы на вольготу, от стен ейных карих сожжоных Мы хурнувшы телы гля достальна воропа на Полдень Розторгуючи дружниц, ликуючи всех повреженных, Сментовавшы писанни, идём как розхристанной взводень. Исковеркавшы клятвы, мы рвёмса в наполненну пряху, Вона лихо айдат в Богом брошенной город в камнинах, Дык докель подеватьса от зехла, плюючево жахом, Скоко слёз у людьов мы не пйом, не пьянит та бражына!»

Ещё Учитель сказал, что лет через пятьдесят эти стихи будут петь куда громче, под электрические гитары, лохматые молодые люди, которые знать не будут, кто их написал. Я принял это за насмешку. Теперь, зная, сколько его предсказаний сбылось и как не сбылось одно, самое главное, я ни за что не ручаюсь.

На вопрос о профессии я бесстыдно отвечаю: «Диалектолог», — и всякий раз чиновник, заполняющий анкету, переспрашивает и пишет «диетолог». Кроме того, я анархист, то есть человек, считающий всякое государство злом, а наше — злом наименьшим и потому особенно подозрительным. Но всё это относится к быту. По существу же мне было бы весьма обидно, если бы кто-нибудь принял эту книгу за роман, более или менее занимательный. Это значило бы, что я не исполнил задачи, данной мне в тягостный день 27 сентября 1940 года, в день

смерти Учителя. Да будут мои слова тёплыми, как его руки, домашними, как его прокуренный шарф, на котором любил плакать маленький Дамдин, и колючими, как его усмешка!

Я называю его Учителем, хотя он никого ничему не учил. У него не было ни программы, ни символа веры, ни партийного билета — а у нас партий три на выбор, и все одинаковые, — у него не было даже простенькой, захудалой философской системы. Он был человеком без убеждений. Долгое время я думал, что он такой же анархист, как я. Он смеялся над всеми государствами сразу: над японской империей и над советской, над германским рейхом и над Британской империей, над нашей республикой, над президентом, над думой, над согласительной комиссией, над всякой иерархией — от Политбюро до старшего дворника — и, наконец, над самим смехом. Теперь я знаю, что ошибался. Он смеялся надо всем, но служил… Нет. Об этом в своё время. Он сам велел мне рассказывать всё по порядку, анекдоты предпочтительно.

Перед всеми судилищами мира — перед Сибирским правительствующим сенатом и Особым совещанием НКВД, перед японской жандармерией и ургинским ламой — Учитель предстал бы насмешником, обманщиком и зачинщиком неисчислимых неприятностей. Одна только согласительная комиссия думы не вынесла бы ему приговора, потому что она вообще никаких не выносила. Между тем закона он не нарушил ни разу — ни одного параграфа, ни одной декларации по форме № 6. А в правовом государстве это подозрительнее всего: честный человек хоть раз да ошибётся в декларации.

Учитель учил не верить настоящему. Не ненавидеть его, как учили пророки до него, — ненависть он считал занятием утомительным и негигиеничным, — а именно не верить, «чтобы не было больно, когда оно рухнет». Что оно рухнет, он повторял с весёлой уверенностью, как прогноз погоды: в будущем году, через год, самое позднее — через два. Узнав о его делах, многие скажут, что он был паникёром и пораженцем; так называли его при жизни газеты всех трёх правящих партий и обеих неправящих. Учитель не отвергал почтенных прозвищ и отвечал: «Паникёр — повитуха истории. Не примете меня — с мирной улыбкой и вечным пером в кармане, — придёт другой, в сапогах, для кесарева сечения, и худо будет земле».

Современники не хотят и не могут принять этого насмешника без убеждений, мудреца с заочным дипломом, подвижника в шарфе, скрывающем шрам. Для чего же Учитель приказал мне написать книгу его жизни? Я долго томился сомнениями, глядя на честных томских интеллигентов, мудрость которых выдерживается, как ялуторовское масло в погребе, в уюте кабинетов с портретом Потанина над столом, на этих мыслимых читателей моей книги. Но коварная память на сей раз выручила меня. Я вспомнил июньский день на Почтамтской, когда над Томском летел тополиный пух и ложился сугробами у тумб, и Учитель, поймав пушинку на ладонь, сказал мне: «Твоё вернее. Оно летит не только по Почтамтской, но и во времени».

Итак, не для нынешних вершин, не для избранных, бесплодных и обречённых пишу я, а для грядущих низовий, для земли, которую пробурят не этим буром, где будут кувыркаться в блаженном идиотизме его дети, мои братья.

Литератор, Томск, декабрь 1940

ПОЧТАМТСКАЯ

Глава первая. Моя встреча с Учителем. — Шпион и кусок серы

26 марта 1937 года я сидел, как всегда, в ресторане «Европа» на Почтамтской перед стаканом давно выпитого чая, тщетно ожидая кого-нибудь, кто освободил бы меня, уплатив терпеливому официанту двугривенный. Подобный способ пропитания был открыт мною ещё осенью и блестяще себя оправдал. Сибирское наречие, как известно, кормит своих возродителей не лучше, чем кормило их предков, а стипендия Общества изучения Сибири, выплачиваемая облигациями, шла на табак. Но почти всегда за четверть часа до закрытия появлялся нечаянный освободитель. То это была поэтесса-наречница, стихи которой я переложил с русского на сибирский, после чего она перестала их понимать и стала уважать. То алтайский скульптор, почему-то надеявшийся через меня продать свои каменные бабы одному американцу из «Стандард Ойл». То шулер неизвестной губернии, выигравший у моего дядюшки в Барнауле изрядную сумму и, очевидно, почувствовавший угрызения совести. Однажды им оказалась моя старая нянька. Она приехала из Спасского на Благовещенский базар, искала Троицкий собор и попала, по рассеянности городового, не разглядевшего адрес, в «Европу», где сидели томские обормоты. Нянька, кроме канонического двугривенного, подарила мне шаньгу с творогом и, растрогавшись, трижды поцеловала меня в нос.

Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием других обстоятельств, как-то: хронического безденежья, чтения газет и некоторых любовных неурядиц, — я был настроен весьма бдительно. В том году бдительными были все. На каждой тумбе Почтамтской висели плакаты «Враг слушает!» и «Граница — на замке!», а на трамвайной остановке у Почтамта — тот самый маленький человек в круглых очках, с усиками и фотоаппаратом, которого за пять лет знали в лицо все сибирские дети и которого ни разу не видел ни один сибирский контрразведчик. Я видел врага во всём. Официант Федот слишком внимательно слушал, когда я заказывал чай, — ясно, на кого он работает. У буфетчицы был подозрительный разрез глаз. Швейцар не так давно приехал из Челябинска, и все знали, что из Челябинска не приезжают, а засылаются. Даже старая моя нянька, при всей её шаньге, — кто поручится, что не связная? Почему она искала собор именно в «Европе»? Я детально разрабатывал план разоблачения шпионской сети, охватывающей весь ресторан, включая гардероб. Потом выпивал рюмку облепиховой, хмелел, декламировал наречные стихи собственного сочинения и доказывал ко всему привыкшему буфетчику, что ещё Ядринцев предвидел в «Европе» гнездо японской агентуры. Дни мои заканчивались обыкновенно у знакомой курсистки, девицы с принципами, от которой я требовал в самые неподходящие минуты, чтобы она объяснила мне разницу между Особым совещанием НКВД и японской жандармерией. Так проходило мало-помалу время.

В памятный вечер я сидел в тёмном углу, трезвый и отменно смирный. Объяснялось это тем, что в большом зале «Европы» давало маскарад Общество друзей Шамбалы. Томские рериховцы праздновали не то проводы зимы, не то приближение Майтрейи, а скорее всего то и другое сразу, потому что Майтрейя, по их учению, тоже должен был прийти с востока и по весне. Зал был увешан полотнами, на которых синие горы перетекали в лиловые, лиловые в розовые, а над всеми ними висела ровная, как блин, луна. Над эстрадой растянули знамя Мира: круг и три точки внутри. Председатель Общества объяснял каждому входящему, что это прошлое, настоящее и будущее, заключённые в кольцо вечности, а буфетчик всем объяснял, что это три бублика на блюде, и брал за них по пятаку.

Рядом со мной пыхтел толстый человек в тибетском халате, надетом на голое тело, с бумажной гирляндой из лотосов на шее. Я знал его: это был маслозаготовитель Пузанков, в

кризис разорившийся на масле, а теперь разбогатевший на поставках армии. На коленях у него щебетала костистая безгрудая девица, тоже почти нагишом, в серебряной короне из фольги от шоколада. Она изображала богиню Белуху, о чём сообщала табличка у неё на груди: без таблички, по совести говоря, никто бы не догадался. Кругом в разнообразных степенях раздетости сидели махатмы, ламы, йоги, Владыки Шамбалы и вестники Гималаев. Все они пили тминную водку, закусывали пельменями и спорили, в каком из тонких тел следует являться на заседания правления. Один махатма в чалме из полотенца с вышитым словом «Европа» доказывал, что Агни-йога целиком изложена ещё в «Сибирских летописях», а другой, в бороде из пакли, уверял, что лично беседовал с Учителем Мориа на станции Тайга, между вторым и третьим звонком.

Мне, разумеется, всё это казалось решительной мобилизацией вражеской агентуры, направленной лично против меня. Под чалмами можно было спрятать что угодно. Махатмы между собой говорили на никому не понятном языке, в котором я, как диалектолог, не узнавал ни одного корня, а это было явно шифром. Я делал различные телодвижения, как будто плыл, чтобы оградиться от потного Пузанкова и особенно от наставленных на меня острых коленей богини Белухи, и тщетно искал в зале главного резидента — того, кто руководил этим чудовищным действом.

Дверь ресторана открылась, и не спеша вошёл весьма обыкновенный человек. Он был длинный, лёгкий, в фуражке с белым верхом, сдвинутой на затылок, и в выцветшем японском шарфе, высоко замотанном на горле, хотя на улице была капель. На ремне через плечо висел у него фотографический аппарат «Лейка». В «Европу» приходили исключительно томские художники, студенты восточного отделения, газетчики и просто бездельники — люди непотребной наружности. Поэтому ни махатма в чалме из полотенца, ни мой приятель, барабанщик джаз-банда в бурятском малахае, ни маленькая буфетчица с подозрительным разрезом глаз не привлекали ничьего внимания. Но человек с «Лейкой» был такой диковиной, что весь зал дрогнул, на минуту замолк, а потом разразился шёпотом.

Каждый понял его по-своему. Рериховцы зашептали: «Махатма! Пришёл! В белом! С Востока!» — и председатель Общества уже двинулся к нему с блюдом бубликов. Пузанков, у которого были дела с интендантством, побледнел и спрятался за богиню Белуху: он решил, что пришёл ревизор. И только я сразу всё постиг. Действительно, стоило внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определённое назначение и японского шарфа, и «Лейки», и фуражки, под которой удобно прятать микрофотоплёнку. Шарф был японский. Аппарат держал он так, как держат оружие. А глаза его спокойно и неторопливо переходили с одного лица на другое, точно он всех нас фотографировал без всякой «Лейки».

Я знал, что борьба бесцельна, и приготовился к концу. Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далёкие воспоминания: дача в Басандайке, я в цинковой ванне, розовый и беззащитный; прогулки с гимназисткой Надей по Лагерному саду над Томью; ледоход, на который мы бегали смотреть с Воскресенской горы. Но эти сладостные видения отгонял от меня неотвратимый подвал контрразведки — чьей, я ещё не решил. Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть, традиционного допроса под лампой, а может, проще — повелительного приглашения следовать в автомобиль.

Но вербовщик проявлял редкую выдержку. Он отстранил председателя с бубликами словами «благодарю, я уже пообедал на этом плане», сел за соседний столик и, не глядя на меня, развернул «Сибирскую жизнь». Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво как-то, он подозвал официанта Федота: «Кружку пива. Томского», — и через минуту на его столике пенилась кружка. Шпион пьёт томское пиво! Этого я пережить не мог и вежливо, но в то же время взволнованно сказал ему:

«Вы напрасно ждёте. Я готов. К вашим услугам. Вот мой паспорт, книжка стихов на сибирском наречии, две фотографии, тело и душа. Вербуйте. Только, ради бога, скажите сразу, чья разведка: мне это важно в принципиальном отношении, я анархист. Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле?»

Я старался говорить спокойно и деловито, как будто речь шла не о моём конце, потому что сразу отметил: мой вербовщик был темперамента флегматического.

Теперь, вспоминая этот далёкий вечер, бывший для меня дорогой в Дамаск, я преклоняюсь перед проницательностью Учителя. В ответ на мою маловнятную речь он не растерялся, не позвал Федота и не ушёл. Он тихо, глядя мне в глаза, промолвил:

«Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но шпионов нет. Их рисуют для плакатов».

Слова эти не слишком отличались от обычных наставлений доктора по нервным болезням, к которому я ходил осенью. И тем не менее они показались мне откровением, дивным и гнусным. Всё моё стройное здание рушилось, потому что без шпионов были немыслимы ни «Европа», ни я, ни существовавшая где-то справедливая и героическая контрразведка. Я почувствовал, что погибаю, и схватился за последний спасательный круг.

«Но аппарат? Аппарат?..»

Он усмехнулся.

«И аппарата, в вашем смысле, нет. Это просто “Лейка”. Я фотографирую вывески. Американцы из “Стандард Ойл” платят мне за то, чтобы я им объяснил, почему в Сибири никто не покупает их керосин. Ответ простой: сибиряк уверен, что у него под ногами свой, только руки не доходят. Вывески нужны для отчёта. Американцы не верят словам, они верят фотографиям». Он достал из кармана пачку карточек и разложил их передо мной, как пасьянс: «Скобяная торговля Кухтерина», «Чай, сахар и колониальные товары», «Зубной врач Гольдберг. Удаляет без боли и навсегда»…

Больше надеяться было не на что. Микрофотоплёнки не стало. Он снял фуражку, и под ней оказались обыкновенные густые волосы, без всякого тайника. В томлении и ужасе глядел я на невольного обманщика, а он спокойно отхлёбывал томское пиво.

Я отнюдь не радовался тому, что врага нет, что он лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе со шпионом исчезал весь уют — пусть уют осаждённой крепости, но всё же жилой, понятный, ощутимый. Я чувствовал себя в пустыне и, желая найти хоть какую-нибудь опору среди летучих песков, спросил:

«Хорошо. Предположим, их нет. Но хоть что-нибудь существует?»

Он снова усмехнулся, показав зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилась реклама в томском трамвае «Зубной порошок “Кедр” — и Сибирь улыбается», и вежливо, почти виновато ответил:

«Нет».

Это «нет» прозвучало так, как если бы я попросил у него спички или спросил, читал ли он последний номер «Сибирской жизни».

«Но ведь на чём-нибудь всё это держится? Кто-нибудь управляет этим толстяком? Есть в нём смысл? Вот, например, Шамбала…»

«Шамбала, — сказал он, — находится там, где у человека кончаются деньги и начинается свободное время. Поэтому у товарища Пузанкова она открылась только в тридцать шестом году, вместе с интендантскими поставками. А толстяк этот родился лет сорок пять тому назад в Колывани. Был голеньким, потом оброс салом. Выдаёт себя за махатму, на самом деле поставляет армии масло и, по-моему, разбавляет его маргарином. Сегодня заработал на облигациях четыреста рублей. Доволен. Желудок работает исправно, прочие органы тоже. Сейчас поужинал — пельмени, водка, ещё раз пельмени, — взял богиню. Потом интендантство его поймает, и он потеряет восемьсот. Потом заболеет подагрой и поедет пить вонючую воду на Карачи. Потом умрёт, сгниёт, и на могиле у него вырастет та самая трава, которую в Сибири зовут

“петушки да курочки”. Разумеется, вам бесплатно предоставлено удовольствие находить во всём этом тайную цель, перевоплощение и сокровенный смысл. Правление Общества друзей Шамбалы находит, и с большим успехом: у них членские взносы по рублю в месяц».

«Нет, — я не мог удержаться, я кричал, — этого не может быть! Вы без аппарата, но вы — он самый! Есть добро, понимаете? Вечное, абсолютное!»

Он не смутился и даже не повысил голоса.

«Право же, я не шпион. Вы слишком мне льстите: у шпиона хорошее жалованье. Притом этих очаровательных созданий, увы, нет. Можете спать спокойно, даже валерьянки не требуется. Но и добра тоже нет. И того, другого, с большой буквы. Придумали. Со скуки нарисовали, синим по лиловому, как вот эти горы на стенах. “Добро”, говорите? А вы поглядите на эту девочку». Он кивнул на богиню Белуху. «Она сегодня не обедала. Вроде вас. Есть хочется, сосёт под ложечкой, а попросить нельзя: надо пить сладкую наливку и говорить о тонких мирах. Тошнит. И от товарища Пузанкова её тоже тошнит, руки у него холодные, мокренькие, ползают, шарят, и пахнет от него маргарином. У неё в Колывани мальчик, отдала бабке, надо посылать пятнадцать рублей в месяц. Вчера пришла открытка — мальчишка заболел, фельдшер, лекарство и так далее. Прирабатывай. Да ещё будь весёленькой, на маскарад, пожалуйста, и не Нюрка Сапожникова, а богиня Белуха, вершина мира, высота четыре тысячи пятьсот шесть метров над уровнем моря. Целуй товарища Пузанкова в губы, похожие на два вареника, будто сама с ума сходишь от страсти и от Шамбалы: может, ещё трёшку накинет. Словом, быт, ерунда, хроника. А от такой вот ерунды все ваши махатмы летят вверх тормашками. Всё, конечно, по графам распределено: сие добро, сие зло, сие карма. Только крохотная ошибка вышла, недоразуменьице. Справедливость? Отчего же вы не выдумали хозяина получше, чтобы у него в хозяйстве таких безобразий не было? Или, может, верите, что это карма? Что Нюрка в прошлой жизни была ростовщиком? Ай да Владыки! Только почему они Пузанкова за его прошлые жизни не наказывают? Весы у них без гирек. В следующем воплощении? Да, да. А где оно, это воплощение? На какой карте? В каком уезде? Пока что тонкое тело — абстракция, а толстое, умрёшь, — попахивает, потом косточки, потом пыль».

Я сидел молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленно вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, чёрненькая, и я быстро вскарабкался на неё.

«Пусть так. Нет ни Владык, ни смысла, ни добра, ни справедливости. Но есть ничто. А раз есть ничто, значит, есть реальность, есть смысл, есть дух и есть творец».

«Мой друг, вы неисправимы. У вашего “ничто” тоже нет аппарата на ремне. А вот пиво здесь, и я здесь, и Пузанков. В том-то и вся хитрость, что всё существует и ничего за этим нет. Сейчас в Заисточье помирает старик, а на Воскресенской горе пищит в первый раз младенец. Утром была капель, теперь подмёрзло. Вертится, кружится, вот и всё…»

«Но ведь так же нельзя жить! Это гнусно, стыдно, наконец, просто ненужно!»

«Что делать, не вы выбирали. Вас поставили перед совершившимся фактом. Дом меблированный. Одним очень нравится, уютно: есть дума, есть суд присяжных, есть облигации. Другие возмущаются и пока что мирно перевешивают картинки с одной стенки на другую. Это у вас называется сменой кабинета».

В эту минуту великолепная и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от него и была его первым откровением мне. Не обращая внимания ни на махатм, ни на Федота, я вскочил, откинул стул и закричал:

«Но ведь можно уничтожить дом? Государство? Все государства сразу?»

Он кивнул головой и попросил меня сесть.

«Вполне законное желание. Давайте-ка займёмся этим».

Он, наверное, анархист, подумал я, в Сибири много анархистов, только они больше по кооперативной части. И шёпотом спросил:

«Бомба? Адская машина? Как в девятьсот седьмом?»

«Вы прелестное дитя, — ответил он. — Бомбой можно покалечить пару толстеньких городовых, самое большее какого-нибудь министра, который коллекционирует марки и играет по субботам в лаун-теннис на Белом озере. На его место назначат другого, тоже с марками, только с худшим ударом слева. Нет, мы займёмся иным».

Я понял, что спрашивать непристойно, и только, церемонно поклонившись, спросил:

«С кем имею честь?»

«Бендер. Консультант».

«Консультант по чему?»

«По всему, — сказал он, — кроме того, о чём вы подумали».

Тогда я сказал:

«Я буду вашим учеником, верным и старательным. Но дайте мне реальность, не то сегодня ночью или завтра утром я могу сойти с ума».

Он вынул из кармана маленький тёмно-золотой комок, похожий на янтарь, и протянул его мне.

«Это сера. Лиственничная. Жуйте. Это реальность».

Я сунул серу в рот. Она была горькой, смолистой, пахла тайгой и намертво прилипла к зубам, так что я не мог больше задавать вопросов. По-видимому, в этом и состоял его замысел.

Мы поужинали, и, спросив после пельменей два лафитника облепиховой, он снова подтвердил мне, что это, то есть облепиховая, — истина, а не сон. Под утро, когда рериховцы, утомлённые тонкими мирами, разъехались на извозчиках, он познакомил меня в гардеробе с пухленькой колыванской мещаночкой. Она была одета в костюм снежинки, совершенно растаявший к утру, и похожа на свежую шаньгу со сметаной. «Это на самом деле, — сказал он, — это вам не добро». И дружески хлопнул меня по плечу.

«А теперь спокойной ночи. До завтра».

Махатма в чалме из полотенца спал в гардеробе на чужих шубах. Над эстрадой знамя Мира отвязалось с одного конца и висело кольцом вечности вниз. Официант Федот, которого я полвечера разоблачал, подал мне пальто и сказал: «Заходите ещё. С вас, как всегда, двугривенный. За вас уплачено».

Я вышел на Почтамтскую. Светало. С крыш капало, и тумбы с плакатами «Враг слушает!» стояли пустые и безобидные, как будто их только что выдумали.

Глава вторая. Детство и юность Учителя

В настоящей главе я хочу поделиться с читателем немногочисленными и отрывочными сведениями о жизни Учителя до памятного вечера в «Европе», когда я его встретил. Иногда Учитель рассказывал мне отдельные эпизоды своих юных лет, и я попытаюсь их восстановить, чтобы все поверили, что Остап Бендер не миф, не сказочный герой и не персонаж плохого романа, а живой человек, сын… Впрочем, здесь я сразу встречаю первое затруднение.

О происхождении Учителя ходили всякие вздорные легенды. Наиболее часто мне приходилось слышать в Томске, что он незаконный сын адмирала Колчака, родившийся от мимолётной встречи молодого лейтенанта с гречанкой в каком-то черноморском порту. Сторонники этой версии ссылались на то, что Учитель так же, как адмирал, не выносил дураков и так же, как адмирал, каждое утро брился, даже под арестом. Противники возражали, что адмирал в тысяча восемьсот девяносто седьмом году находился на крейсере «Рюрик» в Тихом океане, а гречанок там нет. Вторая легенда, распространённая на Черепичной улице, где жили отставные приказчики, утверждала, что он сын турецкоподданного, — на этом, кстати, настаивал и сам Учитель, когда заполнял анкеты. Третью легенду пустили томские рериховцы после маскарада, описанного в предыдущей главе. Согласно ей, в Учителе воплотился один из Махатм Гималайского Братства, покинувший тонкое тело ради служения Сибири в пору её испытаний; доказательством служило то, что в ту же самую весну из витрины Общества друзей Шамбалы исчез гипсовый бюст Махатмы Мориа. Очевидно, это произошло вследствие сонливости сторожа и пристрастия некоторых интендантских чиновников к восточным древностям.

Легенда о Махатме пользовалась таким успехом, что, когда Учитель однажды ночевал в мастерской одного томского художника-рериховца, разыгралась курьёзная сцена. Ночью художник в длинной рубахе прокрался к спящему Учителю и начал осторожно разматывать на нём шарф. Застигнутый и слегка заподозренный в дурных намерениях, он объяснил, что искал на горле Учителя знак Шамбалы — треугольник из трёх родинок, форменное отличие воплощённых Махатм. Вместо треугольника он нашёл шрам, долго в него вглядывался, побледнел и сказал, что это ещё выше Шамбалы. Учитель замотал шарф, перевернулся на другой бок и посоветовал ему искать треугольники в геометрии. Эти и подобные басни, разумеется, не заслуживают никакого доверия.

Учитель родился, по его словам, в 1897 году в городе у тёплого моря, название которого он каждый раз произносил по-разному: то с ударением на первом слоге, то на последнем, то вовсе заменял его словами «ну, вы знаете, там ещё лестница». Был ли он крещён, и в какой вере, я не знаю. Когда его спрашивали о вероисповедании, он отвечал: «Принадлежу к той же конфессии, что и господин полицмейстер», — и никто из полицмейстеров ни разу не решился уточнить, к какой именно. Я полагаю, что ребёнком он был пытливым и неудобным. Так, мне известно, что пяти лет он продал соседу-бакалейщику его же собственную кошку, желая познать, что такое собственность, и остался вполне удовлетворён опытом, потому что бакалейщик заплатил. Два года спустя, усомнившись в существовании небесной бухгалтерии, он прокрался в церковь, вскрыл гвоздём кружку для пожертвований и нашёл в ней не столько медяки, сколько чужие долговые расписки, засунутые туда прихожанами в надежде, что Господь погасит. Опыт этот его окончательно успокоил.

В шестнадцать лет он влюбился, стал глядеть на звёзды и думать о вечности. Но, испытав кое-какие временные услады, о звёздах и о вечности забыл, от девицы спешно удалился и раз навсегда потерял вкус к тому, что люди зовут любовью. К счастью, девушка вскоре утешилась и вышла замуж за подрядчика. Узнав об этом, Учитель послал единственной отмеченной им в жизни женщине свадебный подарок — дюжину стульев гамбсовской работы, полученных им при обстоятельствах, о которых он не любил распространяться. Стулья, по его словам, были

ореховые, с гнутыми ножками и обивкой в английский цветочек. «С тех пор, — говорил он, — я отношусь к мебели с подозрением. В мебели всегда что-нибудь зашито».

Дальнейшие годы окутаны туманом. Известно, что в Гражданскую войну он оказался в Сибири — как, он не объяснял, — и что первым его самостоятельным делом здесь было пресечение анархии на просёлке под Новониколаевском. Весной 1918 года, когда эсеры и областники только что провозгласили независимость, но ещё не успели обзавестись таможней, Учитель, выпив жбан крепкой браги, провёл каблуком черту поперёк дороги и сказал толпе мешочников, возвращавшихся с хлебом из степи: «С сегодняшнего дня здесь государственная граница Сибирской республики. Никто из вас не перейдёт её, не уплатив пошлины. Вытаскивайте сало!» Мешочники были жадны, но законопослушны, и при одних словах «государственная граница» готовы были отдать всё на свете, лишь бы не нарушить закона. Через час Учитель шёл по степи с мешком сала, ведром мёда и полудюжиной золотых десяток. Правительство учредило таможню только три месяца спустя, так что Учитель любил говорить, что сибирская таможня — его изобретение, украденное у него Временным Сибирским правительством без выплаты авторского вознаграждения. Об этом происшествии я слышал от отставного таможенного досмотрщика, который был тогда мешочником и сам отдал Учителю полпуда сала, а впоследствии, поступив на службу, всю жизнь брал пошлину по его методу.

Что было с Учителем дальше, я знаю лишь по слухам, которые сам он ни подтверждал, ни опровергал. Говорили, что в двадцатые годы он ездил по Сибири под разными именами и занимался делами, о которых наш уголовный кодекс высказывается довольно определённо. Говорили даже — и это самая вздорная из всех историй, — будто в двадцать седьмом году он искал по всей республике, от Омска до Алтая, дюжину гамбсовских стульев, в одном из которых тёща какого-то омского помещика зашила брильянты; будто нашёл всё, кроме брильянтов, и чуть не лишился жизни от руки своего компаньона. Рассказывали ещё, что в начале тридцатых у него был миллион, честно отнятый у одного подпольного миллионера. Будто бы он не сумел истратить его в правовом государстве, потому что на всякую покупку свыше двадцати долларов требовалось предъявить паспорт и заполнить декларацию по форме № 6, а паспорта у него не было. Будто бы, усиленно работая, он за полгода сумел истратить лишь сорок тысяч, а остальное потерял на маньчжурском берегу, куда бежал с миллионом из республики, слишком уважающей закон. Я передаю эти басни, потому что их передают все, но, разумеется, не придаю им значения. Человек, который искал брильянты в стульях, а потом не смог потратить миллион, — это не биография, а анекдот, причём не самый смешной. Когда я однажды пересказал всё это Учителю, он долго смеялся и сказал, что, если бы с ним действительно случилась хоть половина этого, он написал бы два романа, а не ждал бы, пока их напишет кто-нибудь другой.

Достоверно мне известно другое. Учитель воевал. Он сам признавался, что делал это «без всякого энтузиазма, исключительно из любопытства»: ему интересно было посмотреть, может ли республика, в которой все три правящие партии неотличимы друг от друга, выиграть хоть одну войну. Он ходил с сибирскими частями против атамана Семёнова в Забайкалье и против Калмыкова на Уссури. В двадцать первом году был под Ургой, когда сибиряки выбивали Унгерна из Монголии. Там его храбростью, находчивостью и талантом к переговорам с монгольскими князьями был восхищён генерал Пепеляев. Сам Учитель вспоминал об Урге неохотно. Он рассказал мне только, что однажды стоял у стенки в ожидании расстрела унгерновцами и испытал вместо описываемой поэтами торжественности сильную скуку и желание выпить чаю. После этого случая он, по его словам, уже ничего на свете не боялся, кроме скуки и плохого чая. Генерал Пепеляев предлагал ему остаться в армии и даже обещал роту. Но воевать с атаманами, разбивать их по одному и смотреть, как Япония присылает нового, оказалось делом однообразным и скучным. После седьмого атамана Учитель снял бело-зелёные петлицы и уехал — куда, никто не знает.

В тридцать втором году, после событий, о которых будет сказано ниже, Учитель получил наконец сибирский паспорт, — во Владивостоке, отстояв в очереди, по его словам, «дольше, чем стояли в очереди за счастьем все поколения русской интеллигенции». И сразу, как будто паспорт открыл в нём новые шлюзы, занялся различными научными изысканиями. Он поступил на заочное отделение юридического факультета Томского университета и окончил его за три года вместо пяти, потому что, по его словам, юриспруденция есть не что иное, как упорядоченное изложение способов обходить юриспруденцию, а эти способы он изучил на практике раньше, чем профессора — в теории. На восточном отделении он изучал японский язык, «исключительно для того, чтобы читать меню в ресторане при японской торговой миссии». В шахматном клубе на Почтамтской он брал уроки у Алехина, который в те годы держал в Томске шахматные курсы, и однажды свёл с ним партию вничью, после чего Алехин месяц ходил мрачный и учил студентов только защите.

Учитель изучил римское право, бухгалтерию, геологию нефтяных месторождений (по его словам, «исключительно для того, чтобы американцы не обманывали меня в разговорах»), технику фотографии, сплав леса, японскую каллиграфию, игру на балалайке, переплётное дело и способы добычи лиственничной серы. Он с исключительной лёгкостью овладевал языками. Вот на каких он говорил совершенно безукоризненно: русский, украинский, турецкий (на котором, впрочем, никто в Сибири не мог его проверить), английский, немецкий, японский, испанский, бурятский и казахский. Десятки других языков и наречий он знал вполне корректно, в том числе сибирское, на котором, к моему великому стыду, изъяснялся свободнее меня.

Все эти занятия, однако, его не удовлетворяли. После длительных раздумий он решил — это было 1 марта 1932 года, — что республика обречена, и что бороться с её гибелью бессмысленно, а надлежит всячески холить её язвы, чтобы они стали видны всем. В этот день, как мне удалось установить, Учитель пытался пересечь маньчжурскую границу, и японские пограничники, только что ставшие пограничниками государства Маньчжоу-го, обобрали его до нитки в первый же час существования этого государства. «Я понял тогда, — говорил он мне, — что демократия — это то, что существует, пока у соседей не дошли руки. А руки у соседей дойдут, как только кончатся бумаги в нашей согласительной комиссии. Значит, через год, самое позднее через два». Таким образом, этот день является датой постижения Учителем своей миссии — быть великим Пророком гибели. Сам он называл это скромнее: «консультант по крушениям».

Начало его деятельности ознаменовалось неудачей. Учитель был тогда слишком молод для пророка (ему не было и сорока) и слишком верил в силу прямого слова. Он вздумал действовать наивным путём убеждения и весной тридцать шестого года выступил по Томскому радио в передаче «Беседы о гражданственности», куда его пригласили как свежего выпускника юридического факультета. Вместо беседы о правах присяжных заседателей он сказал в микрофон: «Граждане, республика рухнет через два года. Запасайтесь чемоданами. Хороший чемодан — это единственная конституция, которую никто не сможет отменить». Все решили, что это реклама новой чемоданной фабрики в Новосибирске, и на следующий день спрашивали в магазинах, где продаются «конституционные» чемоданы. Но один чиновник Министерства финансов, человек нервный и начитанный, понял его буквально, скупил за неделю все чемоданы в Томске, сложил в них облигации займа индустриализации и уехал — не в Харбин, не в Шанхай и не в Америку, а в Нарым, к родственникам, рассудив, что туда никакие соседи не доберутся. Радиостанция передачу закрыла. Согласительная комиссия завела дело о «распространении панических сведений по радио», заслушала три доклада и передала дело в подкомиссию, где оно лежит по сей день. А Учитель, не желая участвовать в подобных провинциальных идиллиях, осенью того же года сел во Владивостоке на пароход «Ермак», вёзший в Испанию сибирские винтовки для республиканцев «по линии кооперативной помощи братскому народу», и отплыл в Европу, где почва для его деятельности была более благодарной.

Там, в Барселоне, его впервые назвали Хулио Хуренито, — что он делал в Испании и почему вернулся, я узнал много позже. Через несколько месяцев после его возвращения я встретился с ним в «Европе» и стал его первым учеником.

Вот всё, что я знаю о первых сорока годах жизни Учителя. Мне хочется кончить эту главу словами любви к земле, родившей великого человека. Две земли будет чтить далёкое потомство: город у тёплого моря, где он родился, и Сибирь, которой он отдал свои лучшие годы, хотя и уверял, что отдал их ей по ошибке, как отдают извозчику вместо гривенника золотой пятирублёвик. Два города будут вечно манить к себе паломников: безымянный город у тёплого моря с его знаменитой лестницей и маленький, грязный советский городок, где Учитель кончил свои дни и который я назову в своё время.

Я никогда не был у тёплого моря, но глубоко люблю этот священный для меня край. Я люблю его по рассказам Учителя: белые дома, спускающиеся к порту, каштаны, акации, биндюжников, контрабандистов, мадам, торгующих на Привозе бычками, и солнце, о котором в Томске в марте нельзя даже мечтать. На долю этого города выпала честь быть колыбелью Учителя. С глубоким уважением я повторяю имена людей, которых Учитель знал в дни своей сибирской юности: генерала Пепеляева, адмирала Колчака и начальника его канцелярии Гинса, художника Гуркина, шахматиста Алехина, капитана Бурдукова, коменданта станции Чита. Если эта книга дойдёт до них, пусть они с доверием примут слова уважения и признательности. И если кто-либо из прочитавших мою книгу познает счастье увидеть наяву город у тёплого моря, пусть он за меня поцелует его знаменитую лестницу — все её ступени, сколько бы их ни было.

Глава третья. Доллары и Библия. — Три дня мистера Пибоди

Несколько дней спустя, рано утром, ко мне пришёл Учитель и, даже не поздоровавшись, протянул номер «Сибирской жизни» с отчёркнутым объявлением. В отделе «Разное», между рекламой нового средства от ящура для коров («Ящур — не приговор! Порошок доктора Штерна») и письмом какого-то Поля к напрасно ревнующей его «кисоньке», которой он верен до гроба и до получения жалованья, было напечатано нижеследующее.

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ТУЗЕМЦЕВ СИБИРИ (НЬЮ-ЙОРК — ЧИКАГО — САН-ФРАНЦИСКО) совместно со «СТАНДАРД ОЙЛ КОМПАНИ ОФ НЬЮ-ДЖЕРСИ» ИЩЕТ деятельных миссионеров в различные губернии республики, а также агентов по продаже патентованных керосиновых ламп. Являться в гостиницу «Россия» к мистеру ПИБОДИ.

«Ты понимаешь, как это кстати», — сказал Учитель. В первый же вечер, после облепиховой, он стал говорить мне «ты», дружески и вместе с тем повелительно.

Через полчаса мы уже сидели в номере мистера Пибоди, лучшем в «России», с видом на Почтамтскую и на тумбу с плакатом «Враг слушает!». Лицо у мистера Пибоди было широкое, плоское, упитанное и ничего особенного не выражало. Зато у него были необычайные ноги в носатых рыжих ботинках. Они лежали на двух вращающихся пюпитрах, несколько выше уровня головы, и от них пахло дорогой ваксой и керосином. Мистер Пибоди одновременно читал Библию, диктовал стенографистке письмо министру путей сообщения Устругову, слушал по телефону цены на нефть в Тульсе, ел яйцо всмятку, курил толстую сигару и разглядывал фотографию полногрудой актрисы из «Дальвостоккино». Для этого к его креслу, напоминавшему зубоврачебное и выписанному из Чикаго через Сиэтл и Владивосток, были приделаны станки, трубки, автоматические держатели в форме дамских пальчиков и целая клавиатура непонятных мне кнопок. Подобное времяпрепровождение, естественно, налагало свой отпечаток на мистера Пибоди. Впоследствии я заметил, что приёмы разговора по телефону он применяет и в обычной беседе. Как-то вечером, сидя один в ресторане «Европа» и скучая, он отрывисто гаркнул проходившей мимо певице: «Алло! Женщина? Это я, мистер Пибоди. Свободны? Хотите со мной? Алло! Представьте смету. Даю ужин и десять долларов. Живыми». Иногда он чувствовал необходимость нажимать кнопки, и эта вполне понятная привычка неприятно отражалась на окружающих. Но в общем это был человек скорее воспитанный, и он любезно принял нас, тотчас посвятив Учителя в сущность своих намерений.

Прожив достаточное число лет в Америке, по рассказам приезжавших и по газетным статьям мистер Пибоди узнал, что Сибирь лишена нравственности и организации. Два могучих рычага цивилизации — Библия и керосин — не идут здесь рука об руку. Сибиряки читают Библию при свечах, а то и при лучине, а американский керосин покупают неохотно, утверждая, что «свой у них под ногами, только руки не доходят». Мистер Пибоди понял, что Америка должна отплатить благодарностью за тот великий момент, когда атаман Ермак, известный на всей Волге разбойник, прежде чем зарезать первого татарина, пробормотал молитву и тем положил начало торжеству креста за Уралом. Ныне пришла очередь Америки спасать одичавшую Сибирь. Для проведения этого в жизнь мистер Пибоди организовал акционерное общество с весьма солидным капиталом и, приехав в Томск, начал разрабатывать план. Сообщив это Учителю, он стал нажимать наиболее мелкие кнопки и, вынимая из выскакивающих папок различные проекты, читал их нам. Некоторые из них мне запомнились, и я приведу их здесь, к сожалению, без цифр и чертежей.

Необходимо прекратить в Сибири пьянство и обжорство не одними только мерами акцизного обложения. Для этого надо оградить нестойкие души от соблазнов, напоминая им о благах вечных. Общество изготовляет световые рекламы, работающие на керосиновых лампах «Стандард»: над маслобойнями вывешиваются огненные надписи «Не маслом единым жив человек», над пельменными — «Блаженны алчущие», над магазинами готового платья — «Не заботьтесь, во что одеться», над Сибирским торговым банком — «Не собирайте себе сокровищ на земле» и т. д.

Обязать содержательниц домов свиданий на Ямской улице поставить в заведениях автоматы с необходимыми для гигиены принадлежностями. На пакетиках должно быть напечатано: «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте». Эти аппараты, по словам мистера Пибоди, были делом весьма доходным, ибо, обходясь в сорок рублей, приносили в среднем до ста двадцати рублей в месяц чистой прибыли.

Докладная записка министру юстиции Сибирской республики. Побывав несколько раз в Томском окружном суде на открытых заседаниях с присяжными, мистер Пибоди с радостью констатирует большое стечение публики и остро развитое чувство справедливости, выражающееся в нескрываемом энтузиазме при зачтении обвинительного акта. Он отмечает предприимчивость мелких торговцев, продающих у здания суда кедровые орехи, морс и даже игрушки для ребят, которых приводят умные и энергичные матери. Но мистер Пибоди удивляется, почему такого рода празднества не использованы для нравственной пропаганды, и, вполне понимая некоторые особенности сибирской светской власти, предлагает предоставить это его обществу. В зале суда — передвижные трибуны с платой, доступной даже трудящимся. Буфет. Магазин, в котором, кроме обычных товаров, продаются фотографии подсудимых до и после вынесения приговора, духовные книги и, наконец, прокат биноклей. После официальной части — кинематографический сеанс «Детство преступника и порядочного человека». Первый шалит, потом крадёт, потом не платит налогов, потом не голосует на выборах, потом попадает на скамью подсудимых; второй — мальчик-пай, копит гривенники на сберегательную книжку, покупает облигации займа индустриализации, женится, получает выигрыш и тенистую могилу на Вознесенском кладбище. Засим короткая проповедь, которая может удовлетворить запросы и светской части общества: преступник забыл о школе, о своих обязанностях как избирателя и налогоплательщика, о высшем существе — «Республике». Для разъезда — «Молитва девушки» и гимн.

Предвидя после японских и советских пограничных инцидентов неизбежность войны, мистер Пибоди опасался истребления сибирских христиан и потому предлагал Сибирской республике озаботиться созданием туземных войск из подопечных народов — монголов, тувинцев, казахов. Насильственное вылавливание взрослых из улусов он находил жестоким и, главное, непрактичным. Опыт американских скотоводческих ранчо подсказывал идею питомников: отбираются наиболее плодовитые семьи, и через двадцать лет республика имеет войско, совершенно готовое к употреблению, «они дешевле, и их не жалко», — не нарушая при этом ни нравственных чувств, ни экономических интересов собственного населения.

Ознакомив нас с этими оригинальными и смелыми проектами, мистер Пибоди пожаловался Учителю на косность Сибири. Министр юстиции не ответил ему. Во многих домах свиданий на Ямской поставлены его аппараты, но нравоучительные надписи тщательно замазаны дёгтем, а кое-где добавили неприличные рисунки. Световую надпись над Сибирским торговым банком ночью разбили какие-то злоумышленники, вероятно анархисты. Но больше всего мистер Пибоди обижался за четвёртый проект. Он отослал его в «Сибирскую жизнь», и газета, к его удивлению, напечатала записку целиком, под заголовком «Американская забота о сибирских народах». На следующий день в редакции было сорок три письма. Профессор Томского университета, областник старой школы, напомнил, что Ядринцев полвека назад написал целую книгу о вымирании сибирских инородцев от водки, сифилиса и купеческих долгов и что сибир-

ское областничество с того и началось, что не считало остяка и алтайца скотом. Монгольское представительство в Томске прислало ноту. Художник Гуркин, глава Каракорумского округа, прислал телеграмму из одного слова, которое редакция не решилась напечатать. Казахский поэт из Семипалатинска ответил стихами, и они, говорят, были лучше всего, что написал за свою жизнь мистер Пибоди. Согласительная комиссия, впервые за свою историю, единогласно и без всяких «собственных мотивов» осудила проект в тот же день. Мистер Пибоди так и не понял, что произошло. «У нас в Оклахоме, — говорил он, — эта идея никого бы не обидела». Учитель ответил, что у них в Оклахоме индейцев для этого уже почти не осталось.

Поэтому мистер Пибоди решил с помощью газетных объявлений подыскать энергичных, опытных агентов, знающих местные условия.

Кроме того, у мистера Пибоди было ещё одно дело, о котором он говорил вполголоса, но с особой теплотой. «Стандард Ойл» финансировала Сибирское геологическое изыскательское общество, которое вело разведку нефти на Оби и в Нарымском крае. Финансировала щедро, но с одним условием: геологам выплачивалась премия не за найденную нефть, а за обоснованное заключение о её отсутствии. «Алло! Вы понимаете? — говорил мистер Пибоди. — Отрицательный результат — это тоже наука. Если нефти нет, Сибирь будет вечно покупать наш керосин, и мы вечно будем нести ей свет. Если же какой-нибудь фанатик её найдёт, это будет катастрофа для цивилизации, для христианства и для наших акционеров. Мы платим за науку. Мы платим за правильную науку». Один упрямый старик в Томском университете, по фамилии Усов, от премий отказывался и продолжал искать. Мистер Пибоди называл его «этот геологический Иов».

Учитель, высказав свой восторг перед активностью и революционностью идей мистера Пибоди, скромно, но не без достоинства указал на свой опыт: юридический диплом, знание местных условий, японского языка и геологии нефтяных месторождений, а также на то, что в Сибири его знают все, а он — всех. Его краткая речь произвела на мистера Пибоди столь сильное впечатление, что тот, отбросив яйцо и не дослушав цен на нефть в Тульсе, воскликнул: «Вы тоже великий человек! Алло? Вы будете моим консультантом по Сибири. Издержки и прочее. Алло? Представьте смету».

Откланявшись, мы вышли. Глубокая пропасть лежала между сегодняшним днём и вчерашним. Всё утративший, я уже не принял мистера Пибоди за шпиона, несмотря на его телефонную манеру, кнопки и проекты. Всё же он показался мне отвратительным и куда более опасным, чем все махатмы Общества друзей Шамбалы. Я сказал об этом Учителю. Учитель со мной согласился: «Конечно, он отменно гнусен. Но я выбираю учеников не по реакции на них моего раздражительного пищевода, а по степени их полезности для дела. Чтобы ты понял, какая сила скрыта в этом человеке, мы проведём с ним три ближайших дня. Смотри и учись. Это поучительнее, чем все учебники политической экономии, которые ты не дочитал».

Учитель, как всегда, ты был прав! Что все проповеди Кропоткина и все обличения Толстого по сравнению с этими тремя днями, где главные роли играли часовая стрелка и маленькая синяя чековая книжка в боковом кармане мистера Пибоди? Они прошли, быстрые и неумолимые; воспоминания о них напоминают фильм.

Вторник. После завтрака, в час дня, мистер Пибоди едет на выставку Томского общества любителей художеств в Доме науки. Среди прочих его внимание останавливают картины Давида Бурлюка. Отец российского футуризма, автор «Пощёчины общественному вкусу», в девятнадцатом году бежал от большевиков через Урал, собирался плыть в Америку через Японию, но застрял во Владивостоке, потом в Томске, и так в Сибири и остался, потому что в Сибири, по его словам, «вкус ещё не настолько общественный, чтобы ему нельзя было дать пощёчину». На выставке висят его «Сибирская Венера с примусом», «Томь в тридцати измерениях» и «Портрет согласительной комиссии» — двенадцать одинаковых квадратов, разде-

лённых трещиной. Сам Бурлюк стоит рядом, огромный, в жёлтом жилете, с лорнетом у здорового глаза и с нарисованной на щеке рыбкой. Учитель объясняет. Мистер Пибоди возмущён.

«Это грубый материализм! Алло? Безнравственность! Падение духа! Я понимаю примус в руках у Мадонны. Одухотворённый примус. Но вы говорите “форма”, “фактура”, “сдвиг”? Алло! Растление! Покупаю».

Вынимает чековую книжку. Скупает у общества все полотна Бурлюка. Три часа дня. Сияющий художник привозит мистеру Пибоди остальные картины из своей мастерской на Воскресенской горе. Тридцать одна штука. Снова чек. Засим немедленно, на глазах у Бурлюка, два гостиничных коридорных режут картины на мелкие кусочки.

«Алло, мистер Бурлюк, вы должны оставить это искусство. Вот это прекрасно и нравственно. — Он показывает на висящую у него в номере репродукцию: синие горы, лиловый закат, луна, как блин. — Это не Бурлюк, это… как его?»

Учитель подсказывает: «Рерих».

«На деньги, полученные от меня, купите небольшой магазин или займитесь продажей моих керосиновых ламп. Алло? Возражения бесполезны. Всё, что вы будете писать, я буду скупать через моих агентов и немедленно уничтожать. Протестовать? Но это моя собственность. Куплено. Что хочу, то и делаю. Доллар, мой друг, высшая сила. Доллар и Библия».

Пять часов дня. Сенсационное сообщение в вечернем выпуске «Сибирской жизни»: «Давид Бурлюк заключил контракт со “Стандард Ойл”». Отец российского футуризма будет писать рекламные щиты керосиновых ламп для всех губернских городов республики. Первый эскиз уже утверждён: румяная сибирская баба в кокошнике держит над головой лампу «Стандард», лучи от лампы расходятся сдвинутыми кубами, а внизу надпись: «Свет из Америки — в каждую сибирскую избу». Рыбку со щеки, по условиям контракта, Бурлюк смыл. В шесть часов Учитель по поручению мистера Пибоди заказывает в похоронном бюро на Магистратской венок с лентой: «Российскому футуризму от благодарных акционеров. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Бурлюк сам относит венок на выставку и вешает его на гвоздь, где утром висела «Сибирская Венера». Вечером его видели в «Европе». Он пил облепиховую, плакал и говорил, что кубизм, если подумать, и есть лучший способ рисовать керосиновые лампы. На следующей неделе он купил автомобиль.

Среда. Мистер Пибоди решает заняться политикой. Из утренней газеты он узнаёт, что рабочие керосинового склада «Стандард Ойл» на Черемошниковской пристани дружно бастуют уже вторую неделю, требуя прибавки восьми копеек в час и проверки складских весов. Склад стоит, баржи с керосином из Владивостока не разгружены, а навигация, как назло, только началась. Заботы низших слоёв населения о своих грубо материальных интересах и пренебрежение к миру духовному всегда возмущали мистера Пибоди.

Тут я должен признаться в собственном позоре. Узнав, что стачкой руководит Томский союз транспортных и складских рабочих, анархо-синдикалистский, я в то же утро побежал туда — помогать. Мне грезились баррикады на пристани, красно-чёрное знамя, речь перед толпой и, может быть, мои стихи, которые грузчики будут петь хором. Союз помещался в двух комнатах над чайной на Набережной Ушайки. На стене висел портрет Кропоткина, засиженный мухами, и плакат «Освобождение рабочих — дело самих рабочих». За тремя столами три человека в нарукавниках разбирали бумаги. Секретарь, сухой старик с усами, дал мне стул и спросил, по какому я делу. Я сказал, что я анархист и пришёл помочь.

«Это хорошо, — сказал секретарь. — Нам как раз нужен человек. Видите эту папку? Это расчётные листки за последние два года. Хозяин обсчитывал на весах: на каждом пуде недовешивал грузчикам по четыре фунта, а сдельщина у них с пуда. Надо пересчитать, сколько недоплачено каждому, а их сто шестьдесят человек. Потом составить таблицу для мирового судьи. Вы считать умеете?»

Я признался, что считаю плохо.

«Тогда вот это. — Он подал мне другую папку. — Жалобы. Табельщица Осипова жалуется, что ей не засчитали сверхурочные за Пасху. Грузчик Евсеев — что ему не выдали рукавиц. Вдова Колыванова — что за мужа, которого придавило бочкой, страховое общество платит половину, ссылаясь на пункт семнадцатый. Надо найти пункт семнадцатый, прочитать, понять и написать возражение. Вы юрист?»

Я признался, что я филолог.

Секретарь посмотрел на меня без всякой насмешки, с тем терпеливым сожалением, с каким смотрят на хорошего человека, от которого нет пользы.

«Вы понимаете, товарищ, — сказал он, — мы ведь ничего особенного не хотим. Пётр Алексеевич правильно писал: ни правительство, ни политики, ни дума рабочим не помогут — ни эсеры, ни областники, ни социал-демократы, они в согласительной комиссии сидят. Мы сами себе поможем. А помочь — это значит восемь копеек в час, честные весы и рукавицы. Это и есть анархия. Остальное — стихи».

Я предложил написать для стачечников листовку. Секретарь обрадовался. Я сел и за час написал воззвание на сибирском наречии, с образами, ритмом и двумя словами собственного изобретения. Секретарь прочитал, вздохнул и попросил переписать по-русски и покороче: «Грузчики, восемь копеек! Весы врут! Не выходить на работу!». Это вышло у него самого за три минуты. Мою листовку он, впрочем, не выбросил, а аккуратно подшил в папку «Разное». Я ушёл с чувством, что для революции я, может быть, и гожусь, но для профсоюзов — нет.

Между тем в одиннадцать часов утра у мистера Пибоди сидели агенты частного сыскного бюро «Бдительность» с исчерпывающими сведениями о четырёх членах стачечного комитета. Получив указания, они приступили к работе. Грузчика Гаврилу Пономарёва, пьяницу, незнакомцы приглашают в трактир «Сибирь». К пяти часам, после дюжины стаканов, он валяется мертвецки пьяный в чулане за стойкой. У кладовщика Бирюкова дочка больна чахоткой, она любимица семьи. Предложение ехать с ней на воды, в Белокуриху. Четверть часа испытания — и чек из той же синенькой книжки. Поездом в восемь двадцать Бирюков уезжает в Барнаул. Старичка Бедарева запугивают фотографиями тюрьмы, какой-то перехваченной перепиской с Москвой и нарочно для этого нацепленным на одного из агентов значком контрразведки. Он убегает к племяннику в Колывань. Остаётся Евлампий Лизин — не пьёт, денег не берёт, контрразведки не боится, двадцать лет разбирает в союзе жалобы и знает наизусть все пункты семнадцатые всех страховых обществ республики. В три часа долгое совещание в кабинете мистера Пибоди. Агенты требуют двойной оплаты. Снова книжка. В семь часов собрание забастовщиков. Выясняется, что три вожака бежали, а четвёртый, Лизин, задержан земской милицией: под его тюфяком нашли тысячу долларов, происхождения которых он объяснить не мог.

«Вор!» — «Подкупили!» — «Долой!»

Представитель хозяина, старый приказчик, услужливо объясняет: «Становитесь на работу, никакого наказания не будет, а насчёт весов администрация подумает». Общее ликование. Стачка кончена.

Справедливости ради скажу, что через два месяца присяжные Томского окружного суда, девять маслоделов и три учителя, Лизина оправдали. Защищал его земский адвокат по закону о неимущих, а происхождение долларов так и осталось невыясненным, что, как известно, не доказывает вины. Но к тому времени союз уже исключил Лизина «до выяснения», склад давно работал, а весы так и продолжали недовешивать по четыре фунта. Мистер Пибоди заказывает мемориальную доску на ворота склада, но колеблется в выборе текста. Он запрашивает телеграммой своего друга, баптистского пастора Вонса в Чикаго, можно ли, ввиду смены феодального строя капиталистическим, произвести небольшое исправление в тексте Писания. Удовлетворительный ответ. На воротах склада будет значиться: «Богу — Богово, хозяину — хозяйское».

Четверг. Весна. Тает лёд на Ушайке. Мистер Пибоди настроен игриво, он отдыхает. Прелестная девушка. Алло! Кто это? Младшая продавщица перчаточного отдела в пассаже Второва. Пригласить вчерашних агентов. Полдень. У барышни Люси оказывается жених, Павлик, он служит конторщиком в Сибирском торговом банке. Узнайте слабости. В пять часов дня Павлик проигрывает в Общественном собрании в преферанс тысячу восемьсот рублей, из которых тысяча шестьсот казённые. В шесть он заходит за Люсей. У дверей пассажа они расстаются, девушка плачет. В восемь ей приносят письмо с предложением явиться в «Европу», в кабинет № 8: там она немедленно получит тысячу восемьсот рублей.

Мы едем с мистером Пибоди в ресторан. У входа какой-то нищий просит гривенник. Я снова поражаюсь энергии нашего нового друга. Повернувшись к просящему, он поднимает руку к небу: «Крепись, мой друг, там последние будут первыми». В ресторане я с Учителем в общем зале. Джаз-банд играет фокстрот. Час спустя к нам на минуту выходит мистер Пибоди, как всегда жизнерадостный, и выписывает в книжечке на имя барышни тысячу восемьсот рублей. Минуту подумав, он пишет на оборотной стороне чека: «Любовь покрывает всё» (1 Кор. 13:7).

Так прошли три дня деятельности мистера Пибоди. Выходя ночью с Учителем из «Европы», я смутился. Пахло талым снегом и дымом из печных труб, с Почтамтской доносились звонки последнего трамвая, и моё сердце поддалось радости бытия. Я вспомнил Бурлюка со смытой рыбкой, Лизина, которого милиционеры вежливо, по закону, сажали в пролётку, маленькую Люсю, тщетно пытавшуюся в вестибюле под насмешливыми взглядами официанта Федота припудрить заплаканный красный нос, и не выдержал.

«Скажите, почему вы не убили Пибоди?»

Учитель рассмеялся.

«Друг мой, кто же, идя на войну, взрывает пушку? Вспомни: мы хотим всё разрушить. А Пибоди — великолепное тяжёлое орудие. Кроме того, — прибавил он и посмотрел на тёмные окна “России”, — пушку полезно знать в лицо. По пушке всегда видно, куда она смотрит».

Я не понял тогда последних его слов и решил, что это очередная шутка.

Так мистер Пибоди, сам того не ведая, — он считал Учителя своим консультантом по сибирской косности и аккуратно выплачивал ему сто долларов в месяц живыми, — стал вторым учеником великого Учителя.

STANDARD

Глава четвёртая. Симпатичные боги Дамдина. — Различные суждения Учителя о религии

Утром в гостинице «Россия», написав более двадцати деловых писем — кому, он не говорил, а я не спрашивал, — Учитель позвонил коридорному, чтобы отправить их на почту. Спеша, он хотел быстрее наклеить марки и велел высунуть язык. Этот способ наклеивания удовлетворил обоих, и на следующий день коридорный явился уже без зова, стал у стола и предупредительно высунул свой острый розовый язык. Когда процедура была закончена, он с гордостью сказал Учителю: «Шуудан тоже так умеет».

На наши недоумённые вопросы он доверчиво попросил нас следовать за ним. Мы прошли в тесную каморку под чёрной лестницей, где он жил, рядом с котельной. На полу на войлочке сидел маленький божок, вырезанный из кедрового полена, с бусинами вместо глаз. У него был высунут язык, и на языке была наклеена почтовая марка за семь копеек, с соболями. Парень — его звали Дамдин, он был из-под Урги, и в «Россию» его устроил двоюродный дядя, служивший при монгольском представительстве, — глядел на идола с материнской нежностью и приговаривал: «Шуудан очень умный, всё умеет. Письмо куда хочешь отнесёт, даже в Америку». Далее мы увидели ещё двух божков. Один, вырезанный из бараньей бабки, стоял над моими старыми калошами и тёр их тряпочкой — это был Гутал, что по-монгольски значит «сапог». Другой стоял у двери с осколком зеркала, вставленным в живот, — это был Толь, «зеркало», он не пускал в каморку злых духов, контролёров и пожарного инспектора. Оказалось, что Гутал и Толь, братья Шуудана, тоже всемогущи и способны делать вещи непостижимые: Гутал, например, однажды вычистил сапоги генеральному консулу Японии, хотя тот об этом не просил.

Учитель был обрадован, даже взволнован.

«Вы видите, — сказал он мистеру Пибоди и мне, — здесь, в гостинице “Россия”, под чёрной лестницей, рядом с котельной, творится великолепная мифология. Через сотни лет Гутал будет счищать земной прах с блуждающих душ, Толь — впускать их в небесные врата по предъявлении паспорта, а милый Шуудан с маркой за семь копеек будет вечным вестником, соединяющим наш мир с трансцендентным, по тарифу заказного письма. Или вы позабыли, как делались все прочие боги?

Ты, анархист, — сказал он мне, — отрицаешь всех богов, а Кропоткина держишь у себя над кроватью, в рамке, под стеклом, и протираешь его по субботам. Через сто лет к нему будут ставить свечи профсоюзные секретари. А вы, мистер Пибоди, — превратили Бога в акционерное общество с ограниченной ответственностью, ограниченной, разумеется, со стороны Бога. Разве придумали люди для своих небес другие порядки, нежели для Японской империи или для республики Сан-Марино? У одних небесная монархия: Бог-самодержец, архангелы-губернаторы, святые-исправники. У других монархия смягчена конституционным вмешательством милосердия, как у англичан, где король царствует, а Богородица управляет. А у нас в Сибири, если бы кто-нибудь удосужился сочинить сибирское небо, там непременно заседала бы небесная согласительная комиссия. Три лица, совершенно неотличимых одно от другого, вечно спорили бы о самых пустяках и всё решали бы единогласно, но каждое лицо — по собственным мотивам. А молитвы верующих передавались бы в подкомиссию. Небесные министерства: военное — с различными званиями серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, все в бело-зелёных петлицах; юстиции — с судом присяжных из двенадцати праведников, прокурором, защитником, смягчающими обстоятельствами, весами лавочника и каторгой, срочной и бессрочной; просвещения — с пророками, пропагандой и световыми рекламами на лампах “Стандард”, как у мистера Пибоди. Вы, дети мои, пережёвываете жвачку, прошедшую через все

четыре законных желудка, а Дамдин готовит новую — для поэтов и философов тридцатого века».

Дамдин слушал Учителя очарованный, снова раскрыв рот, но теперь уже безо всяких практических намерений. Обилие таинственных слов поразило его так, что он, упав на колени, поцеловал носок испанского сапога Учителя. Учитель поднял его и сказал: «Ты теперь будешь всюду ходить за мной».

«Жаль, что я не знал, я предложил бы вам коридорного получше, — заметил мистер Пибоди. — Этот не баптист».

Я же спросил Учителя, почему его выбор остановился на маленьком монголе.

«Он верит, — ответил Учитель, — а это у нас в Сибири так же редко, как честный подрядчик или непьяный пожарный. Ваша вера труслива. От неё ложится тень сомнения, иронии и расчётливости торгаша, который боится прогадать на товаре. Какой баптистский проповедник не сверяет своих проповедей с ценами на масло на Омской бирже? Какой томский батюшка не заглядывает тихонько в гимназический учебник естествознания, проверяя, велика ли у кита глотка? Ваше безверие не храбрее вашей веры. Ваши атеисты из эсеровской фракции, выпив стаканчик облепиховой, храбрятся и ругают попов, а потом, припомнив запах Вознесенского кладбища в июльский полдень, держат на всякий случай в нижнем ящике комода бабушкину икону и не спят всю ночь, если жена разбила зеркало. Ваши рериховцы застраховали свои грубые тела в “Сибирском Ллойде” на случай, если тонкие не успеют вовремя выйти. Я беру Дамдина, потому что в нём жива голая, бесстыдная, всеободряющая вера, и это будет крепким оружием в моих руках. Другие увидят во мне учителя или авантюриста, мудреца или прощелыгу, консультанта или паникёра, а для него я буду богом, который умеет клеить марки и говорить необычайные слова. Он будет вырезать меня из кедра и мазать маслом мне губы, а я обещаю быть в этом смысле очень снисходительным богом».

Мистер Пибоди, увлечённый этими мыслями, тщетно пытался возмутиться. Наконец, чтобы оправдать себя и свою сочувственную улыбку столь безнравственным суждениям, он сказал: «Мой друг, я знаю, что вы шутите. Вы, безусловно, хороший христианин и, кроме того, отменный консультант», — и ласково толкнул Учителя толстым пальцем в бок.

Впоследствии Учитель неоднократно возвращался к вопросам веры, верований и религии. Он говорил об этом, как, впрочем, и о других так называемых важных проблемах, шутя и балагуря. Учитель утверждал, что серьёзно, академически, проникновенным голосом или приводя библиографию можно говорить лишь о способах заварки чая, о различных манерах плевать с моста в Томь, со свистом или без свиста, и о постановке ног в фокстроте. Во всех остальных случаях он предпочитал молитве усмешку, многотомному исследованию — весёлый фельетон. «Когда весь сад давно обследован, — говорил он, — тщетно ходить по дорожкам с глубокомысленным видом и ботаническим атласом. Только резвясь, прыгая без толку по клумбам, думая о недополученном поцелуе или о сливочном мороженом, можно случайно наткнуться на ещё неизвестный цветок».

Стремясь передать здесь различные суждения Учителя о вере, я боюсь, что по причине своего характера, угрюмого и неповоротливого, придам им ложную, нарочитую серьёзность. Эти мысли были легки и невинны, как щебет шестнадцатилетней курсистки о различных системах пропорционального представительства.

Как-то, перетаскивая из каморки Дамдина в свою комнату Гутала и Толя (Шуудан остался при хозяине, по делам почтовым), Учитель сказал: «Им будет уютно между бронзовым Буддой из Иволгинского дацана, которого мне подарил один бурятский лама за консультацию по земельному вопросу, и олеографией Николая Угодника, которую подарила мне хозяйка квартиры за консультацию по вопросу жилищному. Боги прекрасны, равны и достойны друг друга. Но вы тщетно хотите подражать Дамдину. Он бога только что сделал. Он как молоденький поэт, написавший первое стихотворение: волнуясь, бегает с ним, и пуповина ещё болта-

ется. А вы отдаёте в коленкоровый переплёт, с кожаными уголками и инициалами, книги гения, истлевшего две тысячи лет назад. Гимназистик зубрит, вы чтите, но не интересуетесь. Только изредка, в приёмной у зубного врача Гольдберга, очень скучая, вы благоговейно раскрываете двести сорок шестое издание. Для вас Бог не хлеб, не жизнь, даже не предмет роскоши, а какая-то баночка мази на полке в ванной комнате. Кто, кому, когда её прописал, рецепт давно утерян, а вы её не выбрасываете только потому, что она так давно стоит, что вы перестали её замечать».

Однажды, когда мы проходили мимо памятника жертвам Азиатской дивизии на берегу Толы — Учитель возил нас в Ургу, о чём будет рассказано впоследствии, — он заговорил о праведности, и я не узнал его голоса.

«Конечно, эксперименты с Иовом, — сказал Учитель, — были несколько рискованными. Пожалуй, теперь Общество покровительства животным привлекло бы обоих спорщиков к ответственности. Но по крайней мере за убытки, за болезнь, за падёж скота, жены и детей Иову выдали хорошее вознаграждение. До воскрешения не додумались, привели ему новую жену, к тому же весьма плодовитую. Возможно, Иов был даже в выигрыше. Во всяком случае, добродетель восторжествовала. Но что сказать о старом ургинском меховщике Шмуле Берковиче, который был праведнее самого Иова, днём и ночью славил справедливость Господню, торговал белкой честно, без недовеса, а в феврале двадцать первого года, когда барон Унгерн взял Ургу, умер в снегу у собственной лавки с распоротым животом, вместе с женой, дочерьми и внуком, которому было четыре года? Я видел эту лавку. Я пришёл с сибиряками в июле, когда всё уже было кончено, и видел. Дети будут счастливы? Внуки? Да, да, что-то там до двадцатого колена… Но ведь порют живот, пожалуй, уже у тридцатого колена, порют аккуратно, без заминки, с молитвой и по приказу. Опять Вседержитель пари держит? Но почему же тысячи Берковичей должны издыхать от такого необузданного азарта? Нет, здесь дело явно нечистое. Даже младенец знает, что Иван — честный, работящий, добренький — умрёт, опухнув от голода, на задворках у Ивана — вора, лжеца, злодея, а тот даже не сморгнёт. И никаких раскаяний, ползаний на четвереньках и удовлетворяющего общественное мнение смертного пота — ровно ничего! Нет, до последней минуты всё обследовано, и ничего утешительного не замечено».

Он помолчал, потом поправил шарф на горле и продолжал уже обычным своим голосом:

«Тогда приступают к тому, что обследовать труднее. Земля как земля, а что под землёй? Справедливость, воздаяние. Разумеется, возможно, что прах да пар, а если нет? Кто знает? Живёт, живёт человек, кругом тиф, крушение поездов, японцы, а он всё живёт, потом ест в “Европе” нельму под соусом, маленькой косточкой давится — и конец. Кто знает, не свыше ли? Случай, а может быть, этот случай умненький, кончил богословский факультет и сдал экзамен на звание провидения? Стоит бабка в Троицком соборе, молится своей “Заступнице усердной”: Пеструшка стельная, дай, Матерь Божья, тёлочку! Это о земном, а о небесном — ещё сомнительнее. Только неуверенность — палка о двух концах. Всякому приятнее отправить такое письмо, да ещё при таких порядках на почте, заказным, а не простым. Идёт безверие, то есть валюта небесной страны обесценена до крайности, хуже нашего рубля в тридцать первом году. Кассир расплывается, тонет в туманах, им же самим напущенных. А облигации небесного займа, которые всем вручали вместо жалованья, никто уже не берёт даже у ресторана “Европа”, где берут всё».

Будучи в Томске, мы зашли с Учителем в баптистскую молельню на Монастырской, построенную на американские пожертвования. На голых, выбеленных стенах висели лишь кружка для пожертвований и расписание занятий воскресной школы. Мистер Пибоди, по воскресеньям проповедовавший здесь через переводчика, весьма красноречиво говорил о благонравии Спасителя, о вреде облепиховой настойки и о преимуществах электрического освещения перед лучиной, а при отсутствии электричества — керосинового. Учитель сказал нам: «Бедные люди, они ещё раз повторили жест ребёнка, который срывает с игрушки ленты и

бубенцы, чтобы найти внутри клок пакли. Им дали великолепную куклу Византии. Они не поняли, что её глубочайший смысл в этих кружевах обрядов, в нашивках догм, в шелесте акафистов, в румянах и золоте окладов. Они начали сдирать одежды, срывать ризы, боясь, что живая плоть станет ризами, и не подумав, что под поцелуями человеческих губ ризы стали живыми и тёплыми и что вне этого плоти не было. Ободрав с кочана лист за листом, они церемонно водрузили перед собой кочерыжку, кружку и мистера Пибоди, который не одобряет, кстати сказать, превосходной облепиховой».

Когда в Томске в тридцать седьмом году организовалось Общество рационального ведения мелкой торговли, Учитель в качестве владельца лавки кедровых орехов в Гостином дворе — лавку он открыл накануне и закрыл назавтра — явился на учредительное собрание и внёс предложение поставить общество под высокое покровительство Томской епархии.

«Нигде, — говорил он, — я не видел такого бережного, трогательного и вместе с тем рационального отношения к мелкой торговле, как в стенах церкви. Как есть большие и малые грехи, так есть дорогие и дешёвые искупления. Церковь вытравила из памяти дорогое бездельникам и тунеядцам, ненавистное нам понятие “даром”. Какой-нибудь мелкий афинский философишка уверял, что добро можно делать ради добра. Церковь сказала: нет. Ничего даром. За всякое добро — квитанция, отвечают всем достоянием неба. За грехи платите: поклон, сто поклонов, свеча за пятак, свеча за полтинник, сорокоуст, постройка часовни, поездка на богомолье в Абалак или к мощам Фёдора Кузьмича. Мы будем торговать под святой сенью апостола Петра, у которого столь дорогие нашему сердцу приходо-расходные книги, весы и крепкие ключи от американских замков».

Речь Учителя покрыли аплодисментами, но предложение не голосовалось вследствие протеста владельца магазина резиновых изделий на Бульварной, стоявшего на точке зрения абсолютной светскости общества.

Поучая учеников, Учитель любил показывать нам различные экземпляры той или иной человеческой породы. Меня всегда изумляло неисчислимое количество людей, с которыми он поддерживал приятельские, деловые, а чаще всего неопределённые и с виду бесцельные отношения. Так, он свёл нас поближе с председателем Общества друзей Шамбалы, неким Зютовым, бывшим податным инспектором, тем самым, который на маскараде в «Европе» предлагал ему бублики. Зютов, кроме служения Владыкам, занимался игрой на цитре, разведением комнатных лимонов и выжиданием чая перед самоваром. Любимыми его словами были «кто-то», «что-то» и «странно». Когда мы на минуту замолкали и в комнате становилось тихо, Зютов многозначительно вздыхал, а затем пояснял: «Сейчас в комнате кто-то присутствовал». Вообще молчал он не просто, а торжественно. Изъяснялся он примерно так: «Мне грустно — по саду кто-то прошёл», «Сейчас с какой-то девушкой в Колывани что-то случилось, поэтому у меня тяжелеют веки», «Вы слышите, как странно бьют часы на пожарной каланче? Они что-то предвещают». За утренним чаем он был полон воспоминаниями приснившихся снов, за обедом — смутными ощущениями тонких миров, за ужином — предчувствием неведомых встреч, что, впрочем, не мешало ему есть с аппетитом. Во всём он видел тайну: в форме облака над Воскресенской горой, в залетевшей в форточку синице, даже в суповой миске, которую разбила его прислуга, неповоротливая чалдонка.

Просидев с ним два часа, я заподозрил его в нервном заболевании и поделился своими соображениями с Учителем. Но тот возразил: «Увы, Зютов вполне здоров. На доме у него громоотвод, а в передней барометр. Когда он заболевает, то зовёт лучшего доктора из университетской клиники и не может вымолвить ни слова от волнения, пока врач не положит трубку в карман и не пробубнит наконец название болезни по-латыни. Зютов очень любит повторять слово “карма”, но сделал себе, между прочим, прививки от оспы, от тифа и от клещевого энцефалита, а жизнь свою застраховал в “Сибирском Ллойде” на восемь тысяч. Конечно, если ты его обо всём этом спросишь, он не смутится и скажет что-нибудь вроде того, что Владыки не

велят искушать карму. Но на нём ты можешь наблюдать человека, который не способен жить без тайны. Ты скажешь, что на свете ещё много неясного. Разумеется. Но из длинной анфилады запечатанных комнат несколько дверей уже взломано, и там обнаружена самая обыкновенная обстановка средней руки. Это расхолаживает Зютовых и заставляет их приделывать печати обратно. Дальше идёт косметика, штопка драных штанов и различные способы старой потаскухи выдавать себя за невинную девицу».

Возвращаясь к тому же вопросу о тайне, он свёл меня с одним новосибирским теософом, бухгалтером Сибкрайсоюза Вольфсоном.

В жизни Вольфсон был обыкновенным бухгалтером, имел нечто вроде жены, то есть худосочную девицу Матильду, выполнявшую в доме самые различные обязанности. Но иногда, скушав изрядное количество пельменей, выпив пива тоже вдоволь, выкурив папиросу «Сибирская Ява» и не зная, что ему дальше делать, — то есть в часы, когда прочие смертные читают статьи о правительственном кризисе, ловят мух или просто очищают многими способами нос, уши и прочее, — Вольфсон вдруг становился важным. Он запирал на кухне подобие жены, чтобы она не мешала ему звяканьем посуды, и объявлял, что у него высшее состояние духа: из мира астрального, в котором он пребывал ранее — с пельменями и Матильдой, — он переселяется в «будхе» и теперь видит всё. Далее шло вовсе неподобное: оказывалось, что Вольфсон был прежде не Вольфсоном, а жаворонком, Чингисханом и фавориткой императрицы Екатерины, причём последнее обстоятельство он сообщал с некоторым смущением. Кроме того, он знал не только названия всех городов Шамбалы, но и расписание трамваев её столицы, с пересадкой у Белого дворца Владык. Он показывал сослуживцам по Сибкрайсоюзу стёртый китайский медный чох, уверяя, что это монета, которой Чингисхан расплатился с ним, Чингисханом, за собственный портрет. Родимое пятно на его теле ниже спины являлось знаком предназначенной ему звезды в созвездии Ориона. Уезжая летом на месяц в отпуск, он направлялся на Алтай, к подножию Белухи, и там таскал камни, строя какое-то капище по проекту, привезённому, как говорили, самим Рерихом в двадцать шестом году.

О нём Учитель говорил как об очаровательном хитреце: «Вольфсон знает всё, но ему скучно утомлять свой разум балансами Сибкрайсоюза, а тем более социальными трактатами. Поэтому он предпочитает выдумывать забавную тайну и потом остроумным способом её разоблачать. Это ничуть не хуже кроссворда в воскресном номере “Сибирской жизни”. Это вполне корректный и практичный спорт, а засим — разве тебе ещё не ясен путь от Дамдина до Вольфсона?»

Путешествуя по Сибири, мы часто заходили в различные храмы. Обыкновенно в них бывало уютно, но грязно, и мало кто считался с плакатом «Просят из уважения к месту не лузгать орехов». Часто, кроме старых бабок, шамкающих сплетни, и детей, играющих в прятки, мы находили в храмах кошек, собак, даже кур. Мы видели немало любопытных церемоний. В бурятском дацане под Верхнеудинском ламы в огромных масках с оскаленными зубами плясали цам. Публика ела позы, а японский фотограф снимал всё на кинокамеру, вероятно для Императорского географического общества. На Алтае, в долине Теренга, бурханисты в белых лентах кропили молоком алтарь из камней в честь Белого Бурхана, который должен был прийти и прогнать всех русских, всех казаков и всех землемеров, и на всякий случай просили у сибирского землемера, присутствовавшего на церемонии, расписаться в получении молока. Наконец, в Кызыле, при свете костра, перед экскурсантами Общества изучения Сибири камлал тувинский шаман. Сначала духи от чего-то приходить не хотели, и шаман сидел неподвижно с бубном на коленях, а экскурсанты награждали его особыми сибирскими выражениями, состоящими из сочетания слов возвышенных и бранных. Потом председатель Общества заплатил ему ещё три рубля, духи пришли, шаман закружился, все захлопали, кричали ему «браво» и «бис», и дело кончилось ужином с аракой.

Наблюдая всё это, Учитель говорил: «Бедный Томский архиерей. Как подобает его чину, он дремлет с повёрнутой назад головой. Ему снится враг Лев Толстой, и он даже не подозревает о существовании киноактёра Чарли Чаплина. В течение многих веков религия честно исполняла свою роль разрядителя человеческих эмоций. Для этого она вырастила искусство и теперь умирает от конкуренции собственного детёныша. Вместо размышлений отцов церкви — популярная лекция Общества изучения Сибири, вместо Десяти заповедей — неуязвимая мораль спевшихся лавочников. Что же заменит великолепные страсти, шёпот и блеск, фиолетовые рясы и рык дьяконов? Гримасы Чаплина, мёртвые петли лётчика Севрюгова и миллионы огней грядущих карнавалов».

В ту же эпоху Учитель представил архиепископу Томскому докладную записку, которая нигде не была напечатана, но вызвала возмущение «Томских епархиальных ведомостей». Газета даже давала понять, что это интриги некоей великой державы, причём не уточняла, какой из двух. Копии записки у меня не сохранилось, но я считаю необходимым передать её содержание. Учитель предлагал архиепископу некоторые меры для успешного привлечения клиентов. Совершенно недостаточно, писал он, двум профессорам духовной семинарии написать вдвоём шесть страничек о кооперации или решиться осветить собор электрическими лампочками. Надо выяснить, где и при каких условиях легче всего поймать душу, так же тщательно, как коммерсант изучает способы рекламы. У человека былых времён религиозное чувство исходило от созерцания природы: тайга, Томь, звёзды над Заисточьем. Поэтому церкви и часовни строились в местах уединённых и тихих. Теперь покой — это полчаса после обеда: пищеварение, лень и одна-две игривые мысли. Природа — несколько раз в год, с субботы до понедельника: спешное восклицание «ах, как это прекрасно!», прогулка на Басандайку, пикник и открытки с видами. Но чувство восторга, которое религия может использовать, поднимается у современного человека при ощущении быстроты движения: поезд, автомобиль, аэроплан, скачки, джаз, цирк. Поэтому надо соорудить передвижные часовни в экспрессе Томск — Владивосток и в автобусах Чуйского тракта. Все службы следует реорганизовать из медлительных и благолепных в исступлённые и перенести их на лёд Томи, на бега, на лыжные трамплины Воскресенской горы, а «Юнкерсы» Сибирского общества воздушных сообщений освящать прямо на взлёте, причём кропить святой водой лётчика Севрюгова, проносящегося над толпой на бреющем полёте. Таковы были основные мысли записки. Ответа на неё не последовало, но в следующем году архиепископ, говорят, впервые освятил автомобиль.

Приводя суждения Учителя о религии, я не могу не упомянуть о том, как он вернул православной церкви заблудшую овцу, а именно городского голову уездного города Мариинска господина Тихонравова. Этого голову ненавидели все окрестные батюшки, и в «Епархиальных ведомостях» подробно выяснялось, каким именно наказаниям он будет подвергнут на том свете. Тихонравов был эсер старой закалки и воинствующий атеист. В одной из мариинских церквей он устроил гимнастический зал для «разумных развлечений», а проходя мимо другой, исполнявшей прежние функции, останавливался и три раза плевал через левое плечо, что, впрочем, многие считали не атеизмом, а суеверием. Он вычеркнул из школьных хрестоматий слово «Бог», заменив его словом «природа», так что дети читали: «Природа не выдаст, свинья не съест». Он требовал, чтобы письма в Благовещенск адресовали в «Вещенск».

Я не стану приводить длинной беседы и первоначальных плоских доводов господина Тихонравова: как кит мог проглотить Иону, как может быть ребёнок без содействия мужчины, и тому подобных. Отстранив эти теологические проблемы, Учитель перешёл к существу вопроса. Фундамент нашего общественного быта построен на небе. Не ведая того, господин Тихонравов вырывает камни из-под собственного дома: он анархист. Этого голова не мог вынести. В волнении он прошёлся по кабинету, поглядел, нет ли кого в соседней комнате, и поправил бело-зелёную ленту на животе. Почему крестьянин платит земский налог? Не потому ли, что над земской управой — да простит господин Тихонравов выражение — Бог? (Голова

пожаловался на головную боль.) Земная иерархия держится на сознании небесной. Если нет Бога, то почему у господина Тихонравова двухэтажный дом с мезонином на Соборной улице? Почему его не может отобрать сторож управы Лопатин, у которого семеро детей и который живёт в бане? Ах, господин Тихонравов так неосторожен! (Голова начал просить прощения: занят, заседание управы и что-то ещё.)

Неделю спустя в «Епархиальных ведомостях» было напечатано следующее: «Ещё один Савл. Известный своими гонениями на церковь мариинский городской голова господин Тихонравов явился на днях к настоятелю Никольского собора и рассказал, что у ключа за кирпичным заводом ему явилась Пресвятая Богородица и промолвила: “Покайся, пока не поздно, и верни храм”. В начале июня первый специальный поезд богомольцев отправляется из Томска в Мариинск к святому ключу. Запись — в редакции. Для членов профсоюзов — скидка». Гимнастический зал вернули церкви, а сторож Лопатин так и остался жить в бане.

Однажды мы спустились с Учителем в томские подземелья. О них в Томске рассказывают с детства: будто под Воскресенской горой, от старой крепости к Троицкому собору и к купеческим домам на Духовской, тянутся ходы, прорытые ещё в царствование Петра, и в них разбойники прятали золото, купцы — контрабанду, а большевики в восемнадцатом году — оружие. Вход нам показал мальчишка за гривенник, в подвале одного дома на Воскресенской. Поглядев на чёрные, скользкие, осыпающиеся проходы, надышавшись сыростью и мышами, вдоволь налюбовавшись на старушку, которая сидела при свече в глиняной нише и продавала за сходную цену двум нарымским богомолкам косточку старца Фёдора Кузьмича — того самого, о котором говорят, что он был императором Александром Первым и ушёл в Сибирь замаливать грехи, — мы вылезли наверх. Косточка была тёпленькая, завёрнутая в бумажку от карамели, и, по словам старушки, за эту неделю уже третья.

Наверху было просторно, свежо и безлюдно. Мы стояли на краю Воскресенской горы, над Томью, над слободой, над заливными лугами, на которых только что сошёл снег. Я осмелился спросить Учителя, что думает он о судьбах религии.

Учитель сказал: «Наконец-то истлеют все кости, и косточки Фёдора Кузьмича, и мощи всех святых, и все боги, и Шуудан с маркой на языке. Разрушатся соборы, и дацаны, и молельни мистера Пибоди, и забудутся молитвы. Не жалей об этом. Видишь, там, на лугу, откидывая ноги, прыгает маленький жеребёнок. Разве не передаёт он беспредельного восторга бытия? А здесь, у баньки, задрав морду к небу и опустив хвост, воет собака, — не вся ли скорбь земли в ней? Им будут подобны грядущие люди, и не станут они запирать свои чувства в тысячепудовые облачения.

Чаще гляди на детей. Я люблю в них не только воспоминание о лёгких днях человечества, нет, в них я вижу прообраз грядущего мира. Я люблю младенца, который ещё ни о чём не ведает, который царственным жестом тянется сорвать — что? Брошку на груди матери? Яблоко в саду? Звезду с неба? Потом его научат, как надевать галстук, как целовать руку отцу, как шалить, как голосовать и как молиться. Пока же он дик, пуст и прекрасен. Если ты хочешь научиться по-настоящему ненавидеть людей, люби, крепко люби детей! Оскорбляй святыни, преступай заповеди, смейся, громче смейся, когда нельзя смеяться! Смехом, мукой, огнём расчищай место для него, грядущего, чтобы для пустого было пустое».

Дамдин, стоявший рядом, ничего не понял, но на всякий случай поклонился жеребёнку, собаке и Учителю.

Глава пятая. Васисуалий Андреевич ищет человека

На следующий день после нашей встречи с Дамдином мы все вместе отправились на неделю-другую во Владивосток, где у Учителя был ряд дел. Он не называл их, но среди них, как я понял, были заседание пайщиков Общества по осушению Гнилого угла, доклад в Обществе изучения Амурского края, закупка большой партии японских зонтиков, корейского женьшеня и китайских фарфоровых мисок с драконами, а также осмотр причалов «Стандард Ойл» на Чуркином мысу, куда приходили из Сан-Франциско американские танкеры с керосином. Последнее было делом мистера Пибоди, и он ехал с нами в отдельном купе, разложив на столике Библию, прейскурант и фотографию актрисы.

Вечером в день приезда мы направились на Миллионку. Длинный ряд кабачков и харчевен соблазнял нас бумажными фонарями, качающимися гирляндами сушёных кальмаров, клетками с певчими птицами и китайцами, которые прямо на улице варили в котлах что-то, пахнущее одновременно чесноком, опиумом и надеждой. Мы вошли в один кабачок, как будто наиболее спокойный: мистер Пибоди высказывал всяческие опасения касательно Библии и долларов. На лавках и под лавками сидели люди различных цветов: белесые норвежские матросы, подрумяненные американские, хорошо прожаренные солнцем корейские грузчики, пережаренные филиппинцы с какого-то английского парохода и китайские кули, у которых цвета, казалось, не было вовсе, а была только усталость. Люди в углу неистово кричали, и мистер Пибоди, схватившись за доллары, мысленно цитировал Послание к ефесянам, убеждённый, что сейчас начнётся свалка с ножами, а возможно, и с револьверами. Но Учитель успокоил его, объяснив, что это японские рыбаки вполне дружески спорят о том, сколько иен стоит в этом сезоне кета. Мрачный англичанин сидел один на ящике из-под чая, каждые пять минут выплёвывая «виски!», потом оживился, показал сам себе какой-то детский фокус с исчезающей монетой и, показав его, долго и простосердечно смеялся. Двое русских бывших гвардейцев, давно ставших грузчиками, пили мало, много шумели и хвастались: один тем, что в девятнадцатом году в одиночку взял Хабаровск, другой тем, что в одиночку его оставил.

Вдруг из дальнего угла кто-то застонал по-русски, протяжно, с поэтическим подвыванием:

«Друг мой, брат мой, скажи мне — человек я или нет?»

Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента. У него была фараонская бородка клинышком, когда-то тщательно подстриженная, а теперь отросшая неравномерно, словно в год неурожая, подбритые усики и пенсне с одним выбитым стеклом. На голове у него была широкая фетровая шляпа, на которой, безусловно, сидели и лежали различные посетители различных кабачков. Он настойчиво тряс старого китайца-кули, который никак не мог ответить на столь глубокомысленный вопрос, тем более предлагаемый на языке непонятном. Старик из вежливости кивал во все стороны сразу, улыбался беззубым ртом и всё время подливал вопрошающему чаю, полагая, по-видимому, что это какой-то русский способ просить чаю. Зрелище было столь живописно и трогательно, что мы перекочевали за столик русского. Тот необузданно обрадовался, увидев соотечественников, и потребовал, чтобы я немедленно решил вопрос, не выясненный бедным китайцем. Засим он очень внушительно объявил, разбив при этом чайник и четыре пиалы, что «всё фикция».

Это понравилось Учителю, и он показал русскому философу небольшие, но любопытные опыты — или, выражаясь языком более патетическим, «чудеса», — подтверждающие отсутствие пространства и времени: с монетой, которая оказалась в пенсне, с часами, которые оказались у китайца, и с чайником, который, только что разбитый, снова оказался целым. Русский был настолько этим потрясён, что пощупал свои карманы, косичку китайца, а потом долго и глубокомысленно сидел, приложив к уху руку с часами, — очевидно, проверяя, идут ли они.

Убедившись, что у китайца есть косичка, что часы не испорчены и что вместе с тем ни времени, ни пространства не существует, и не зная, как всё это согласовать, русский икнул, спросил ещё бутылку ханшина и гордо объявил:

«Всё фикция, но существует человек!»

На ласковую усмешку Учителя он обиделся, хотел уйти, не ушёл, но счёл нужным представиться:

«Свободный человек, то есть Васисуалий Андреевич Лоханкин».

Непосредственно за этим он высказал острое желание рассказать Учителю свою жизнь и спросил, не можем ли мы пойти на вокзал и сесть в пустой вагон. Даже я не понял его хода мысли. Лоханкин объяснил, что привык рассказывать свою жизнь незнакомым людям в вагонах, на перегоне от Хабаровска до Читы, и так как ему уже за сорок, менять привычки тяжело, а жизнь рассказать необходимо, иначе он побьёт китайца, или утопится в Золотом Роге, или начнёт здесь же сочинять ямбы. Все три возможности нам мало улыбались, но идти на вокзал не хотелось. С присущим ему тактом Учитель убедил Васисуалия Андреевича, что кабачок на Миллионке — то же самое, что вагон Транссибирской магистрали, только без расписания, и что поэтому, рассказав здесь свою жизнь, он не отступит ни от традиций великой русской литературы, ни от своих сорокалетних привычек.

Родился Васисуалий Андреевич в городе Тобольске и там же провёл детство. Мать его вскоре после рождения Васи бежала с ссыльным поляком, учителем танцев в женской гимназии, который, получив от неё «сувениры без цены», то есть бабушкины серьги с изумрудами и серебряный кофейник, счёл свою миссию в стране медведей законченной и уехал по амнистии в родной Ченстохов. Мать Васи пробовала существовать, писала какие-то письма, ходила к родственникам и, проваландавшись два года, умерла. Мальчик рос с отцом, отставным полковником и большим самодуром. Наблюдали за ним различные гувернантки, довольно быстро сменявшие одна другую, которые свои досуги посвящали уходу за полковником. После ночей в кабинете отца они щипали Васю с вывертом и смеялись: «Ну-ка, попробуй пожалуйся папе!» Зато, когда судьба заставляла их проводить долгие недели в детской, предчувствуя немилость, они дарили Васе кедровые орехи в меду и шептали: «Ты хороший мальчик, пойди скажи папе, что я тебя очень люблю и его тоже. Только смотри не говори, что это я тебе сказала».

Полковник пил запоем. Порой он хватал нагайку, висевшую над турецким диваном, хлестал ею Васю по спине и приговаривал: «Полячье отродье! Чёрт тебя знает, чей ты! Иди учи мазурку!» А потом ночью будил мальчика, и тот в ужасе видел старика на четвереньках перед кроваткой с сеткой. Старик завывал: «Ангел мой чистый! Солнышко моё! Недостоин я тебя, гад, блудодей! Раздави меня! Плюнь, ну плюнь в отца!» — и не успокаивался, пока Вася не делал вид, что плюёт в него. Иногда после этого полковник смиренно уползал на четвереньках, как пёс в конуру, но порой вдруг вскакивал, рычал: «В отца плюёшь, щенок?» — хватал нагайку, и всё начиналось сызнова.

Особенно запомнилась Васисуалию Андреевичу одна ночь. Полковник как-то привёз с охоты на Иртыше молоденького медвежонка, который стал закадычным другом Васи и участником всех его игр. Звали медвежонка Потапкой. Был он растяпа, падок на сласти и очень ласков. Ночью полковник будит Васю, бережно закутывает в одеяло и несёт в сад. Там, привязанный к беседке, на задних лапах стоит Потапка. Полковник размахивает берданкой и хохочет: «Убиение святого Себастьяна, картина, достойная кисти Шишкина! Хи-хи-хи! Мишка, тащи сюда бутылку зубровки — за переход души раба Божьего Потапа!» Медвежонок думает, что с ним играют, облизывается и урчит. Полковник стреляет — спьяну мимо, только перебивает лапу. Потапка отчаянно визжит, как щенок, которому наступили на хвост. Наконец кончено. Васю уносят наверх в забытьи. Жар, горячка. Ничего, отлежался.

Ещё рассказывал Васисуалий Андреевич о своих детских играх. Больше всего он любил ловить на окне мух и отрывать им лапки и крылышки. Но потом ему становилось их жалко и

скучно, и он устраивал «мушиный лазарет»: в одной спичечной коробке помещались мухи без крылышек, в другой однокрылые, в третьей безногие, и так далее, по разрядам, как в земской больнице. Иногда он молился перед иконой Абалакской Богоматери, чтобы она устроила в раю его, Потапку и маму, о которой он слыхал от старушки-ключницы. Но потом, раздражённый тем, что у него, только у него нет мамы, а Потапку застрелил отец, он вынимал из шляпки очередной гувернантки большую булавку и начинал колоть Богородице глаза: «Вот тебе, вот тебе!»

Когда Вася был в шестом классе гимназии, полковник, перепив зубровки и простудившись во время поездки на богомолье в Абалак, куда возил с собой горничную Фёклу и мадемуазель Жоржетту, умер. Он оставил сыну некоторую сумму и жуликоватых опекунов. Вскоре после этого Вася впервые познал тяготы плоти. До того, прочитав тайком в «Ниве» «Воскресение», он тщетно старался претворить горничную Фёклу в Катюшу Маслову, неожиданно, как бы невзначай, проводя пальцами по её телу, отчего Фёкла нещадно била посуду. После волнений, колебаний и страхов Вася отправился с одноклассником, усатым второгодником Пупковым, в заведение мадам Шустер на Большой Пятницкой и там за три рубля получил от дородной, но расторопной Стеши некоторое элементарное воспитание. Когда он вышел из каморки в салон мадам Шустер, Пупков, глотая мутное пиво, восторженно спросил: «Ну, что скажешь, брат? Здорово? Это моё открытие, в некотором роде Ермак!» Но Вася, закрыв лицо руками, бубнил: «Что я сделал?» — и, получив от Пупкова «размазню», выбежал на улицу. Дома он брезгливо мылся, вспоминал мать и хныкал. А на следующий день, решив начать новую жизнь, пошёл в библиотеку Общественного собрания, записался по второму разряду и взял книги Мережковского и Бердяева.

Всё это, конечно, не помешало ему вскоре отправиться снова — правда, не к Стеше, а к Маруне, чёрной и потной цыганке, похожей на истекающую соком черёмуху. Читать книжки о грехе и об антихристе он, однако, не перестал. Он завёл альбом и, разделив его на отделы — «любовь», «Бог», «природа», «Сибирь» и другие, — выписывал туда наиболее потрясавшие его мысли. Так, в отделе «человек» значилось: «Человек — это звучит гордо» — М. Горький; «Человек создан для счастья, как птица для полёта» — В. Короленко. А в отделе «Сибирь»: «Сибирь — колония» — Н. Ядринцев, и ниже, собственной рукой Васи: «Но не навсегда!» — В. Лоханкин.

Засим он влюбился в голубоглазую Нюру, дочь почтового чиновника. Отличительными её чертами были четыре локона в виде колбасок, медальон с изображением котёнка и страстная любовь к шоколаду с ореховой начинкой. Влюбившись, он ходил, вздыхал и наконец долгими разговорами о своём одиночестве и подсаживаниями поближе на узкой кушетке добился основательного поцелуя. Тогда его охватили сомнения. Как ни была возвышенна и заманчива любовь в произведениях всех лучших писателей, как ни были сладки пухлые губы Нюры, многое заставляло его призадуматься. Нюра не Стеша и не Маруня: у неё отец и прочее, значит, придётся жениться. Но Нюра и не Беатриче, в ней нет жажды божественного. Значит — служба, пелёнки. А можно ли читать Мережковского, когда рядом пищит младенец? Служба же, как он уже тогда понимал, помешала бы ему думать о значении сибирской интеллигенции. Он открыл свой альбом, отдел «любовь», и прочёл: «Только утро любви хорошо» — С. Надсон. Это окончательно толкнуло его к решению, и он послал Нюре письмо на шестнадцати страницах о «великом конфликте между разумом и сердцем» и о «непостижимых путях провидения». Полгода спустя, узнав, что Нюра выходит замуж за товарища прокурора, он вознегодовал: «Вот вечная любовь! Идеал! А впрочем, я незлобив и желаю ей счастья».

Лет двадцати Васисуалий Андреевич начал заниматься политикой, то есть составлять конспект «Сибири как колонии» и размышлять, грех или не грех убить губернатора. Как-то Пупков, ставший к тому времени членом подпольного областнического кружка, привёл к нему рыжего детину в косоворотке и пробасил: «За ним слежка, все ночёвки провалены, так что

он у тебя переночует». Васисуалий Андреевич согласился и весь вечер пытался добиться у гостя, что тот думает о революции, о насилии и об искуплении. Но парень оказался молчаливым и сочувственно реагировал лишь на бутерброды с нельмой да ещё на альбом с видами итальянской Ривьеры. Все последующие дни Васисуалий Андреевич томился сомнениями: «Быть может, он убил или убьёт. Я приютил его, спас. Значит, я покрываю убийство. Я убийца». Словом, он был глубоко удручён. Ко всему, когда он ходил в библиотеку, за ним всю дорогу волочился какой-то подозрительный субъект. Ясно — за ним следят. Он видел себя в остроге, бритым, в кандалах, идущим по Владимирке, причём это улучшило его моральное состояние, потому что он почувствовал себя героем, но не давало спокойно жить. После мучительной недели он решил бежать за границу, но, не зная, как это делается, в отчаянии подал прошение тобольскому губернатору. Три дня он ждал ареста и был бесконечно удивлён, когда ему принесли заграничный паспорт. «Я перехитрил их», — думал он, мчась в спальном вагоне сначала в Москву, а потом в Париж.

За границей его убеждение ещё более укрепилось, и Васисуалий Андреевич искренне считал себя политическим эмигрантом. Заказывая костюмы у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах и скупая сотни поражавших его вещей — специальный набор щёток для чистки мундштуков, электрические щипчики для усов и тому подобное, — Васисуалий Андреевич любил высказывать своё преклонение перед «сермяжной Сибирью», противопоставляя тупой и сытой Европе её «таёжную наготу». Ничем он не занимался и в анкетах гостиниц в рубрике «профессия» гордо писал: «сибирский интеллигент», чем немало смущал швейцаров. В восемнадцатом году, узнав, что Сибирь отделилась и стала свободной, он вернулся служить ей мыслью. Служить ей иначе ему, как и прежде, не позволяло значение сибирской интеллигенции.

В свободной Сибири он почувствовал необходимость войти в организацию и долго колебался в выборе между Томским союзом транспортных и складских рабочих и Обществом друзей Шамбалы, считая освобождение рабочих и освобождение тонкого тела равно важными для будущего республики. Он беседовал с мрачным синдикалистом, занимавшимся преимущественно игрой в шашки и разбором жалоб, на разные отвлечённые темы, а от него шёл в правление Общества друзей Шамбалы, где председатель Зютов играл на цитре, и начинал приставать к нему с теми же вопросами. В конце концов он записался в обе организации и внёс членские взносы, но ни на одно собрание не пошёл: наступила летняя жара, и было куда приятнее, завесив окно мокрой простынёй, лежать в одних кальсонах на клеёнчатом диване и пить настоящий кяхтинский чай.

О дальнейшем он рассказывал сбивчиво. Была женитьба, была Варвара, у которой были большая белая грудь и служба в земской управе. Был шкаф с Бакуниным, Кропоткиным и Мережковским в золотых переплётах. Был Владивосток и жена, ушедшая к инженеру Птибурдукову. Было ещё что-то в «Сорочьей слободке», о чём Васисуалий Андреевич говорить не стал, а только тронул рукой то место, на котором сидел, и пробормотал: «Большинством голосов». Потом Птибурдуковы из жалости приютили его у себя, в комнате за кухней. Позавчера инженер Птибурдуков, человек добрый, но практичный, принёс ему билет до Читы и деньги на первое время и сказал, что дамба, которую он строит, держит, а терпение — нет. Вот почему Васисуалий Андреевич сидел на Миллионке, пил ханшин и спрашивал у китайцев, человек он или нет.

Закончив рассказ, он закричал: «Пусть я скот, жалкий слизняк, но есть человек!»

Учитель мягко возразил:

«Друг мой, ваше интересное и поучительное повествование только убедительнее показывает, что то, о чём вы мечтаете, так же иллюзорно, как и всё на свете».

Лоханкин возмутился, и так как мы уже заметили, что сильные душевные движения у него связаны с битьём посуды, а пиалы в кабачке были казённые, мы поспешили увести его прочь.

Васисуалий Андреевич объявил, что немедленно уезжает на японском пароходе «Хокурику-мару» в Сан-Франциско искать человека. Учитель сказал ему, что если человек существует, то область его нахождения распространяется на оба полушария и ему незачем ехать в Калифорнию. Он и мистер Пибоди охотно предоставят господину Лоханкину необходимые средства. Будет основано Общество изыскания Человека. Если же эта работа ни к чему не приведёт и человек окажется несуществующим, Васисуалий Андреевич должен будет признать правду Учителя и впредь следовать за ним.

«Я буду очень рад, если возле меня окажется коренной русский интеллигент, — сказал Учитель. — Каждый раз, когда я говорю с русским, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у вас тоже имеются поэты, биржи, кажется даже парламент! Но всё, что так крепко и основательно на Западе, у вас ждёт не урагана, а лёгкого дуновения, случайного вздоха, чтобы бесследно исчезнуть. Я не наивен, я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать, знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела. Вы никого не свергнете, но, падая, многих потащите за собой.

Но вы, Васисуалий Андреевич, имеете несчастье быть русским интеллигентом в Сибири, а с сибирской точки зрения вы просто смешны. Сибиряк не страдает, он прикидывает. Он на всём хочет хоть немного заработать: на хлебе, на масле, на беженцах, на собственной независимости и, если случится, на конце света. Покажите сибиряку конец света, и он спросит, почём за вход и нельзя ли сдать угол тем, кто приедет смотреть. Заработанное он, правда, легко спускает: на граммофон, на “Форд” в рассрочку, на свадьбу на три деревни, на облигации, которые потом идут на обёртку для селёдки. А договориться сибиряки между собой не могут вовсе, потому что триста лет знали: если не нравится сосед, можно уйти в тайгу, срубить избу и жить без соседа. Беда в том, что тайга кончилась. Вокруг теперь не тайга, а японцы и Москва, и уходить больше некуда, а договариваться они так и не научились. Поэтому у них три партии, которые не отличаются друг от друга, и согласительная комиссия, которая ничего не согласовывает.

И всё же сибиряков часто спасает именно то, за что я над ними смеюсь. Практичность не даёт им уйти в Шамбалу, как ушли вы. А их упрямое единоличие означает, что их трудно построить в колонну, трудно напугать толпой и почти невозможно заставить полюбить вождя. Поставьте над сибиряками Наполеона — через неделю они подадут на него жалобу мировому судье, через месяц уйдут от него на заимку, а через год выберут против него согласительную комиссию. Поэтому, когда им выпал случай, они устроили не империю и не диктатуру, а маслобойную республику с мечтой о процветании и вечными спорами. Я не знаю, долго ли она продержится. Через год, самое позднее через два. Но вы, Васисуалий Андреевич, в этой республике чужой, как баранья бабка в шахматах. За это я вас и люблю, и я верю, что вы будете со мной».

Васисуалий Андреевич согласился и торжественно подал Учителю руку, сказав ямбом: «Иду за вами, ибо так, наверно, надо». Это было на рассвете, на пустынном причале у Семёновского ковша, среди дремавших на узлах корейских переселенцев и каких-то бродяг в кепках, ругавшихся из-за большого кашне. Картина была немного оперная, и Учитель, усмехнувшись, засвистал арию Мефистофеля, на что Васисуалий Андреевич почему-то обиделся.

Я не стану подробно описывать деятельность Общества изыскания Человека ввиду её чрезмерно сложного и разнообразного характера. К тому же труды академической секции общества собраны одним приват-доцентом Томского университета и должны вскоре появиться в «Известиях Общества изучения Сибири». Как и следовало предполагать, они дали крайне неблагоприятные для Васисуалия Андреевича результаты: доказали отсутствие предначертанных им схем и обнаружили полное тождество обследованных экземпляров с особями, уже

ранее известными сибирским этнографам. Что касается практической деятельности общества, то есть непосредственных розысков Человека, то она привела лишь к ряду более или менее живописных анекдотов. Вначале агенты общества, соблазнённые огромными премиями, рыскали по всей республике с анкетами, составленными Васисуалием Андреевичем и состоящими из тридцати восьми вопросов, и искали тех, кто удовлетворил бы предъявленным требованиям. Они привозили в правление общества на Почтамтской самых неожиданных кандидатов на звание Человека: престарелых богомолок, кержаков-староверов, отказывавшихся отвечать на вопросы, потому что анкета есть печать антихриста, докторов философии из Томского университета, молодых бундовцев из Иркутска и одного тувинского ламу, который ответил на все тридцать восемь вопросов одним словом. Но вскоре, разочарованные строгостью Васисуалия Андреевича, агенты перешли на службу к мистеру Пибоди и занялись продажей его неподражаемых керосиновых ламп.

Во всяком случае, искать Человека стало модным, и, возможно, некоторые читатели этой книги помнят конкурс, объявленный «Сибирской жизнью» сразу вслед за конкурсом на лучший фокстрот и на самое остроумное определение обманутой любви. Газета поместила фотографию молодой женщины-беженки в лохмотьях, с грудным младенцем на руках. Подпись: «Эта женщина утверждает, что три дня ничего не ела и что ей негде спать. Что должен сделать настоящий Человек, увидев её?» Ответы были весьма разнообразны и всесторонни: «Проверить паспорт», «Озаботиться нравственным воспитанием молоденьких девушек», «Очистить наши улицы от бродяг», «Подвергнуть её медицинскому освидетельствованию», «Передать вопрос в согласительную комиссию», «Выслать в Алаш, откуда она, вероятно, пришла», «Свергнуть кабинет министров», «Передать миру в стихах или, в случае неумения, на сибирском наречии её муки», «Проверить, нельзя ли нанять её прислугой за харчи». Премию получил наиболее распространённый ответ — 13 426 голосов: «Сказать ей: стыдитесь! Вы молодая женщина и должны работать». Как курьёз газета отметила пожелание, получившее всего один голос: «Отвести в столовую и один раз накормить за государственный счёт». Ответ был подписан: «Е. Лизин, Набережная Ушайки».

Отчаявшись в работе общества, Лоханкин пробовал сам предпринимать розыски, но был трижды обокраден, раздет и избит каким-то дворником и, наконец, попал в участок земской милиции, откуда Учитель должен был его выручать.

Учитель наконец решился спросить упрямца, признаёт ли он себя побеждённым.

«О нет! — закричал Васисуалий Андреевич. — Пойми меня!» (Надо сказать, что он был очень фамильярен и на следующий день после знакомства с Учителем потребовал выпить с ним на брудершафт, а выпив, облизал ему щёки, после чего Учитель, брезгливо морщась, направился к умывальнику.) «Пусть я не нашёл истинного человека, но он существует! Не веришь? Вот тебе доказательство — я Человек! Ты усмехаешься? Да, я животное, низкое, подлое, грязное! Но я люблю Наташу, и я Человек, я бог! Слышишь?»

Далее многоречиво и патетично, переходя то и дело на ямб, он рассказал о своей любви к курсистке Наташе Орловой, изучавшей в Томске французский язык. По вечерам она играла ему на взятом напрокат пианино «Песню без слов» Чайковского, и Васисуалий Андреевич чувствовал, что он Человек.

«Всё это прелестно, в том числе и Чайковский, — возразил Учитель. — Но чем, собственно, твоё чувство, вполне законное, скажу кстати, отличается от некоторых эмоций кота, который живёт у меня под окном на Монастырской? Тем, что кот не берёт напрокат пианино, а удовлетворяется природными музыкальными данными?»

Васисуалий Андреевич впал в ярость и кричал, что его любовь — любовь Человека, потому что ей «ничего не нужно» и «она навек».

«Что ж, посмотрим, — сказал Учитель. — Отложим разрешение нашего спора на несколько месяцев».

Предсказанию Учителя суждено было скоро осуществиться, увы, при довольно трагических обстоятельствах. В мае, пять недель спустя после описанного разговора, Наташа Орлова умерла. Будучи нрава необузданного и хаотического, Васисуалий Андреевич, как-то выпив, посмел обвинить Учителя в смерти своей возлюбленной. Это было явной нелепостью: Наташа скончалась после неудачной операции аппендицита, произведённой одним из лучших хирургов университетской клиники. Учитель в крайне мягкой форме ответил, что, ведя большую игру, он не нуждается в мелких взятках и, чтобы доказать свою правоту, скорее заставил бы мадемуазель Орлову дожить до ста лет, ибо смерть способна лишь замедлить неминуемое.

Действительно, вначале Васисуалий Андреевич был безутешен. В дождливую ночь, обманув бдительность сторожа Вознесенского кладбища, он приполз на могилу Наташи и, уткнувшись лицом в землю, лежал, пока его не заметили и не увезли. Мало-помалу он начал возвращаться к жизни, продолжая постоянно говорить о своей любимой: как она любила подснежники и музыку, какие у неё были маленькие ручки (перчатки шестого размера) и как он её любил. Как-то раз он сказал: «Я думаю, ей лучше, что она умерла, она не узнала всего горя жизни и всей грубости сибирской действительности». Учитель шепнул мне: «Начинается. Он уже ищет утешения».

Потом Васисуалий Андреевич стал интересоваться обычными житейскими делами, читать газеты, играть в шашки и ходить по субботам в «Европу». Вспоминая о Наташе, он внезапно замолкал и как бы отходил в сторону. Но это бывало всё реже и реже. Однажды, когда Дамдин подарил ему букетик подснежников и сказал: «Это любила твоя госпожа», — Васисуалий Андреевич рассердился, и Учитель заметил: «Дальнейшая фаза — он ищет забвения».

Потом довольно долгое время Васисуалий Андреевич о Наташе не упоминал вовсе, был весел, спокоен и ровен. После этого перерыва, в одной из бесед со мной, он заговорил о ней безо всякого волнения, я бы сказал — «эпически», как говорят о воспоминаниях детских лет, о бабушке или о семейном комоде. Это было в октябре, а в ноябре он познакомился с актрисой театра Дежнёва Агафьей Тихоновной, той самой, что ходила по проволоке в валенках, — особой взбалмошной и весьма очаровательной. Началось всё по порядку: вздохи, одиночество, ямбы, — но на сей раз без неудобного папаши и без аппендицита. Он пришёл к нам и заявил, что «в судьбе — высшая мудрость. Наташа была слишком тихой и задумчивой, она бы со мной мучилась, ей теперь лучше, и Агафье Тихоновне тоже. Ну да и мне…» Встретив насмешливый взгляд Учителя, он смутился, как бы сразу вспомнив всё, закричал, что Учитель прав, что он, Васисуалий Андреевич, не человек, а скот, но что «жизнь, несмотря на это, прекрасна».

Через месяц Агафья Тихоновна, которой, видимо, наскучили лирические вздохи и ямбы Лоханкина, заменила его бурятским жокеем с Томского ипподрома, выигравшим осенние бега на кобыле по кличке Согласительная Комиссия. А Васисуалий Андреевич приплёлся к Учителю с причитаниями о «жизни-фикции» и с тех пор следовал за ним повсюду. Будучи человеком неорганизованным и беспорядочным, цели Учителя он не усвоил и часто сбивался с пути, увлечённый различными, как он сам говорил, «фикциями». Но Учителя он любил, елико мог, и, когда тот бывал с ним особенно резок, говорил: «А может быть, так надо». Таков был четвёртый ученик Учителя.

Глава шестая. Различные суждения Учителя о любви

В настоящей главе я приведу некоторые суждения Учителя о любви.

Злая молва утверждала, будто Учитель развратник и возит с собой в специальном сундуке, обитом войлоком, снежного человека — полузверя, полуженщину, пойманную им на Белухе, — для удовлетворения своей нечеловеческой похоти. Молву эту пустили томские рериховцы, которые, как известно, верят, что сам Рерих видел снежного человека на Алтае, но не могли простить Учителю, что он его, по их мнению, поймал первым. Всё это низкая ложь. О жизни Учителя я рассказываю глава за главой, ничего не утаивая. В сундуке у Учителя лежали бумаги, два костюма, японский словарь и бутылка облепиховой. О плотской любви и о страсти Учитель говорил всегда спокойно, чисто и легко, без смущения, хихиканья, пауз и слюнявых словечек, как говорят о погоде, о хлебе или о навигации на Оби.

Однажды, проходя с нами по племенному двору маслодельной артели под Колыванью, где породистый бык-симментал в ярости и муке покрывал рыжую тёлку, Учитель снял фуражку. На недоумённый вопрос мистера Пибоди он ответил:

«Я повторяю ваш скучный и условный жест. Снимите и вы шляпу, мистер Пибоди. Если уж обнажать голову — а это, кроме всего, гигиенично, — то не перед выцветшими красавицами с золотыми венчиками и не перед покойником, который начинает попахивать, а здесь, перед этим жестом пахаря, вспахивающего жёсткую землю, перед этим в муке извергаемым семенем, перед потом, кровью, жизнью. Из этого жеста сделано всё сибирское масло. А заодно и вся Сибирская республика».

Мистер Пибоди, безусловно, считал Учителя человеком глубоко безнравственным и развратным, что, впрочем, по его мнению, не мешало Учителю быть хорошим консультантом. Пастор баптистской молельни на Монастырской, человек тихий и румяный, разделял это мнение и пытался Учителя исправить. Помню, как утром, встретив пастора в коридоре «России», Учитель сказал:

«Пастор, вчера вечером на моём ночном столике я нашёл грязную и низкую брошюру. Я соблюдаю в своей комнате чистоту, сплю с открытой форточкой, потому что люблю свежий воздух, и не могу допустить подобных явлений. Будьте добры перенести вашу деятельность за пределы моей спальни».

«Вы шутите? Я принёс вам высоконравственный труд нашего молодого проповедника из Сиэтла “О супружеской жизни согласно наставлениям апостола Павла”, в переводе на русский язык!»

«Вот именно об этой скабрёзной литературе я и говорю. Были тычинка и пестик, козёл и коза, парень и девка на покосе. Пришли ваши апостолы и пророки, отцы церкви и евнухи, объявили великое — стыдным, достойное — едва терпимым, расплодили кары и гнусный шепоток в углу, сюсюканье перед чистотой, то есть перед малокровным и худосочным бессилием. Вместо первого человека, весной буйно кидавшего женщину в траву, поставили где-то рядом с уборной кровать, на которой человеку разрешается, по его человеческой, то есть низменной и жалкой, слабости спать с законной супругой. “Лучше не жениться”, — советовал ваш любимый апостол. Подумали вы над этим “лучше не рожайте”? Установили культ матери, окружили её грудь ангельским светом, повели её в храм, а путь к этому храму завалили грязью и заплевали брезгливыми плевочками монахов. Оскопить человечество, конечно, не смогли — пороху не хватило, — а посему стали “терпимыми”. Что ж, не удивляйтесь, если мир превратился в огромный дом терпимости. Вы сказали: “плотское — плохо”, и миллионы уверовали. Одни надели вериги и днём и ночью думают, как бы удержать пробку в бутылке с квасом. Где, в каком блудилище столько думают о похоти, как в келье скопца или в комнатке старой девы? Другие — их большинство — решили: скверно так скверно. То, что могло стать священным,

стало свалкой. Вместо дивного мифа — портсигар с двойной крышкой: на первой крышке кедр и соболь, а на второй, тайной, для приятелей, — нечто нехорошее. Этот портсигар, то есть, простите, вашу духовную книжицу, я, заботясь о чистоте и гигиене, был вынужден выбросить из моей комнаты в форточку. Она лежит теперь на Почтамтской, у тумбы с плакатом “Враг слушает!”, и, по-моему, это самое подходящее для неё место».

Учитель ненавидел институт нашего брака, ставя значительно выше его даже современную проституцию. На этой почве ему не раз приходилось сталкиваться с косностью и враждой общества. Так, однажды к нам явился знакомый Учителя, Аркадий Аркадьевич Голохвостов, бывший омский камер-юнкер, сильно возбуждённый и размахивающий тростью. История этого господина из весьма знатного рода была такова. Проиграв в Общественном собрании последние крохи наследства и наделав мыслимые и немыслимые долги, он познакомился со вдовой маслозаводчика Степанидой Карповной Курочкиной, которая жаждала любви, нежных признаний и дворянской фамилии на визитной карточке. Дальнейшее понятно. Надо только добавить, что вдова была на редкость некрасива и не менее страстна. Она требовала без всякого стеснения, на пароходе, на глазах у всей палубы, чтобы жених то обнял её за талию, то прочёл ей что-нибудь из Надсона.

Получив извещение о свадьбе, Учитель был озабочен тяжёлым будущим этой четы. На свадьбу он не пошёл, но послал в подарок большой оренбургский платок и выписку из «Календаря сибирского конозаводчика» на 1937 год о получении лошаков. Жеребцу в таких случаях показывают сначала кобылу, а потом завязывают глаза. Учитель, прилагая платок, предлагал воспользоваться этим методом для взаимного супружеского счастья.

Как я уже сказал, Голохвостов явился на следующий день после свадьбы с весьма недвусмысленной тростью. Но Учитель сам признал свою ошибку:

«Это было непростительно с моей стороны. Я послал вам всё, кроме… кобылы. Но я думал, что у вас в Томске обширные знакомства. Я понимаю ваше негодование, простите меня великодушно. Знаете ли вы на Ямской Тонечку Парамонову?»

Голохвостов опустил трость, рассмеялся и ушёл, захватив несколько адресов.

В другой раз в «Европу», где мы сидели, явился Персицкий, репортёр «Сибирской жизни», человек бойкий и пронырливый, которого я знал ещё по университету. Персицкий целый день жадно выискивал сенсацию строк на тридцать и вынужден был довольствоваться трёхстрочными заметками о кражах, которые ему давал за папиросы дежурный земской милиции. Он стал приставать к Учителю: нет ли какой-нибудь, хоть небольшой, сенсации? Ну, что-нибудь об испанских делах или о новых проектах мистера Пибоди? Учитель вначале отнекивался, но потом, будучи очень отзывчивым, продиктовал Персицкому совершенно необычайную по предстоящему успеху заметку:

«Исключительное злодеяние. Вчера вечером, в доме на Магистратской улице, известный томский присяжный поверенный господин Трикин, вице-председатель Томской лиги борьбы с уличной безнравственностью, совершил гнусное насилие над восемнадцатилетней девушкой Люсей З., только что окончившей Мариинскую гимназию. Самое ужасное в преступлении то, что оно было совершено с ведома родителей девушки, владельцев большого мыловаренного завода, которые находились в это время в той же квартире».

Персицкий убежал в состоянии беспредельного энтузиазма. Заметка была напечатана на первой полосе, а через несколько дней репортёр явился к Учителю с забинтованной головой.

«Вы меня подвели. Всё оказалось выдумкой. Этот негодяй Трикин просто женился на Люсе З., и они поселились у её родителей на Магистратской. Меня уже три раза били и собираются бить ещё. Я не ночую дома и не бываю в редакции. Кроме всего, я получил повестку от мирового судьи за диффамацию. Вы сделали меня самым несчастным человеком в республике».

Учитель возразил:

«Друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастьях, но я не погрешил против истины. Люся З. не могла дать никакого согласия на всё над ней совершённое: её воспитывали в чистоте и неведении. Она не знала даже, почему люди целуются. Жениха своего она видела два раза, за чаем, при маменьке, и сильно его боялась, потому что у него были рыжие бакенбарды и голос, как у прокурора. Сговорились о ней папенька с господином Трикиным, а её известили. Родители её, разумеется, знали о преступлении…»

Персицкий застонал: «Но ведь, поймите же, они повенчались!»

«Только чтобы избавить вас от ещё больших неприятностей, я не упомянул в заметке о том, что в преступлении участвовал и представитель государства, а именно заведующий городским отделом записей актов гражданского состояния, скрепивший брачный договор печатью с соболями. Говорят, лет десять назад в Сибири был другой такой заведующий, в уездном городке, и он тоже кончил плохо — бросился искать какие-то стулья».

Эти доводы не убедили Персицкого, и он ушёл расстроенный, захватив с собой всё содержимое бумажника Учителя, дружески ему предложенное. Учитель был очень обрадован, узнав неделю спустя, что присяжный поверенный Тракин, конкурент и заклятый враг господина Трикина по Томскому окружному суду, разыскал бедного репортёра, предложил ему наградные, возмещение за диффамацию и бесплатную защиту у мирового судьи.

Учитель говорил:

«Когда два человека основывают вместе кооперативную маслодельню, они интересуются капиталом и деловыми способностями друг друга, а не любовью к поэзии и не умением плясать краковяк. Когда хотят посадить в саду кедр, не занимаются рассуждениями, что такое земля — прах или святыня, не любуются ею, как пейзажем, и не оценивают её у перекупщика, а смотрят, подходит ли она для кедра. Когда приходят покупать валенки, то, как бы ни был хорош войлок и низка цена, никто не возьмёт слишком больших или слишком маленьких. Когда же людей сводят для супружества, исследуют всё, кроме того, для чего, по существу, их сводят. Узнают, есть ли у невесты корова, сепаратор “Альфа-Лаваль” и сколько у неё облигаций займа индустриализации; платят ли жениху живыми или облигациями и есть ли шансы на прибавку; знает ли он английский для работы на американских концессиях; умеет ли она лепить пельмени поколывански или только по-томски; добрые ли у них сердца, здоровые ли лёгкие, нет ли родни в согласительной комиссии и прочее. Узнав всё это, их ведут не в контору, не в правление артели и не на экзамен по сибирскому наречию, а к широкому, уютному ложу с пятью подушками, стыдливо потупив глаза, — и потом очень удивляются статистике несчастных браков в “Известиях Общества изучения Сибири”. О лицемеры, отцы, мужья, вселенские свахи, волочащие земную радость по засаленным папкам нотариусов и земских начальников! И вы, пришёптывающие при сделках всякие возвышенные словечки, — батюшки, пасторы, ламы и муллы, — какой притон на Ямской не покраснеет от вашего присутствия?»

Учитель познакомил нас в Томске с четой Кукушкиных. Оба были энтомологами при университете и предпочитали всему на свете изучение клещей. Это было время, когда в Сибири впервые заговорили о клещевом энцефалите: летом тридцать седьмого года на Дальний Восток ушла экспедиция профессора Зильбера, и с тех пор весь Томск, выходя в лес, со страхом осматривал друг другу шеи. Помимо клещей, Кукушкины были молоды, недурны собой, милы и жили в уютной квартире на Кузнечном взвозе, где среди стеклянных банок с клещами стояли фарфоровые статуэтки и вазы с геранью, — словом, имели всю видимость людей счастливых. Мы жили тогда по соседству, часто встречались и по какой-то особенной горечи мелких словечек, по почти неуловимым движениям заметили, что не всё обстоит благополучно в этом очаровательном домике. Действительно, вскоре Кукушкин-муж сделал Учителю соответствующие признания. Оказалось, что супруги нежно любят друг друга и чувствуют истинную взаимную близость и понимание, сидя по целым дням над препарированными клещами или вечером, для отдыха, читая стихи сибирских поэтесс.

«Наши души созданы одна для другой, — сказал Кукушкин, — но…»

И дальше он смутно коснулся того, о чём современные моралисты и ханжи разрешают говорить лишь в кабинете психиатра или на суде, — о роковой дисгармонии их тел. Это убивает радость и превращает страсть в оброк, выполняемый двумя каторжниками.

Выслушав эти жалобы, Учитель познакомил бедного учёного с Агафьей Тихоновной, которая к тому времени совершенно износила своего бурятского жокея, а нам предложил чаще встречаться с госпожой Кукушкиной. Очевидно, страдания супругов были длительны и чрезмерны, потому что дело пошло быстрым темпом. Через две недели, возвращаясь домой после свиданий с Агафьей Тихоновной в гостинице «Сибирское подворье», Кукушкин не мог скрыть улыбки полного удовлетворения. Госпожа Кукушкина, как это ни покажется странным, остановила свой выбор на Дамдине и, судя по рассказам нашего простодушного брата, тоже об этом не жалела.

Казалось, должно было наступить совершенное счастье. Но супруги, вместо того чтобы в свободное от Агафьи Тихоновны и Дамдина время продолжать изучать клещей и читать стихи, предались раздумьям о любви духовной и недуховной. Засим Кукушкин-муж понёс Агафье Тихоновне в коробке из-под монпансье коллекцию особенно интересных клещей, найденных им в окрестностях Басандайки, и требовал, чтобы она разделила его восторги перед ротовым аппаратом таёжного клеща Ixodes persulcatus. Своей любовницей он был изгнан решительно и навсегда, а коробку Агафья Тихоновна выбросила в окно, отчего в гостинице «Сибирское подворье» на неделю закрыли второй этаж для дезинсекции. Кукушкина-жена решила читать Дамдину стихи сибирских поэтесс, и когда тот, убаюканный её голосом, уснул, громко зарыдала: «Ты не понимаешь духовной красоты!» Всё это протекало более или менее на наших глазах, так как ни господин Кукушкин, ни Дамдин скрытностью не отличались.

«Вот вам ещё один пример издыхания Эроса, — сказал нам Учитель. — Кукушкин обязательно хочет поцелуев и духовного общения и вытаскивает из кармана клещей. Он ведь взращён на понимании своей плоти как чего-то низменного: не зал, а передняя. И он предаст своё тело, свой восторг, свою любовь, вернётся к госпоже Кукушкиной, будет ласкать её без страсти, без воли, без радости, только потому, что, проспав с ней ночь, утром найдёт духовное общение, два микроскопа и книжечку стихов в коленкоровом переплёте».

Другой раз семейное счастье было нарушено нами в Томске же, где мы часто бывали у депутата Сибирской думы, социал-демократа Стрекотенко. Он был плюгав и щупл, но мнил себя безумным революционером, непонятым прокладывателем новых путей, чем-то вроде Ибсеновского Бранда, ставшего марксистом. Сдирая воротничок, потея и не успевая стирать пот, стуча кулаком по изящному столику красного дерева, он любил поносить «собственнические инстинкты» и «мещанский уклад» сибирского буржуа и маслодела. Жена его, сибирячка в теле, слушала эти речи с чуть заметной усмешкой, как будто знала к ним какие-то весёлые примечания. Слушая, она всё чаще и всё нежнее поглядывала на Васисуалия Андреевича, переживавшего тогда очередное разочарование в жизни. Один из таких многообещающих взглядов был перехвачен депутатом Стрекотенко. Оборвав обличение проклятой собственности на самом патетическом месте, он отослал супругу будто бы по делу во фракцию и стал выразительно ждать, когда мы уйдём.

Вечером Васисуалий Андреевич получил письмо:

«Гражданин! Я счёл вас за честного человека и за сибирского интеллигента и пустил вас в свой дом. Вы нарушили все святые обычаи и посмели быть назойливым по отношению к моей жене. Будучи врагом мещанских предрассудков, я не вызываю вас на дуэль, но прошу больше ко мне не показываться. С социал-демократическим приветом, депутат Сибирской думы Стрекотенко».

Из этого письма Васисуалий Андреевич узнал о чувствах супруги депутата к нему. Поэтому, когда на следующий день он увидел в «Сибирской жизни» объявление: «Мой ангел.

Не обращай внимания на тирана. Я твоя. Приходи в три часа к Лагерному саду» — быстрота появления и экономия места указывали на практический опыт госпожи Стрекотенко, — он понял, к кому оно относится, бросил пессимизм и пошёл бриться, сказав ямбом: «Иду, ибо сама судьба меня зовёт».

Учителя очень развеселило это небольшое происшествие.

«Что ты наделал, Васисуалий Андреевич? Ты забыл, что у врага собственности есть не только собственная квартира с мебелью красного дерева, но и собственная жена. А ведь жена или муж — это как вещь: моё, твоё, чужое. Покушение на них — наказуемая по закону кража. Мужа можно взять, как хороший деревянный шкаф, бывший в употреблении, но, конечно, чтобы потом им никто больше не пользовался, ключик в шкатулке. Жена же вообще, как кровать, должна быть новая, неподержанная и служить только своему хозяину. Ты пренебрёг этим, разбойник, ты не гражданин, а преступник, нарушитель священных прав величайшего революционера Сибирской думы».

В воскресенье Учитель повёл нас в Лагерный сад, над Томью.

«Глядите на тех, которым можно, но не разрешено».

В траве, на откосе, сидели парочки. Это были женихи и невесты, принуждённые долгие годы ждать свадьбы, пока молодому человеку не начнут платить жалованье живыми, а не облигациями, или пока облигация не выиграет в тираже, то есть пока он не станет более или менее старым. Видеться они могут в комнатах только при родне, при маменьке, при тётках, а по праздникам — в Лагерном саду, где и стараются, при всей невозможности этого, насытить накопленную страсть. У них под глазами круги, глаза мутны от желания. Как преступники, они ёрзают по траве, проводя мучительные часы в полуобъятиях и касаниях, распаляемые беглыми поцелуями. Пройдёт лет пять, а может, и десять, и им, усталым, измученным, больным от вынужденных пороков, родители, которые сами свою юность и радость растеряли в той же притоптанной траве Лагерного сада, милостиво разрешат: «Теперь сколько угодно».

Эти парочки Учитель припомнил в другой раз, входя с нами в один дом свиданий на Ямской улице.

«Здесь вы увидите тех, которым разрешено, но которые не могут».

В зале за кружками пива мирно, чинно и сонно сидели добрые томские буржуа. У входа висел автомат мистера Пибоди с надписью «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте», замазанной дёгтем так тщательно, что читалось только «Милый друг». Я запомнил лицо одного господина с бело-зелёной розеткой в петлице, члена согласительной комиссии. Потом за ширмой начиналось представление, которое не стоит здесь описывать, потому что всё в нём было механично, скучно и оплачено по таксе. Мало-помалу добрые буржуа зашевелились, иные хихикали, другие слюняво возмущались. Из соседней комнаты выбежали девицы и быстро расхватали гостей. Господин с розеткой дольше всех проявлял безразличие и под конец, к нашему изумлению, начал торговаться о цене, как в согласительной комиссии, — по собственным мотивам.

В Томске, как и везде, существовала некогда изданная, но почти никем не виданная книга «Энциклопедия механической любви». Её составили одиннадцать старейших и наиболее уважаемых дам с Ямской улицы. Как известно, в этом ремесле молодость ценится мало, а к сорока годам, потеряв красоту, но приобретя искусство, женщины становятся модными, ценными и могущественными. По недосмотру типографии «Сибирского печатника» тираж попал на склад Американского общества христианского просвещения туземцев Сибири, которое, воспользовавшись суматохой во время выборов в думу, сожгло всё издание в котельной гостиницы «Россия», к большому неудовольствию Дамдина, у которого в тот вечер было очень жарко. Уцелело только шесть экземпляров. Один из них, насколько мне известно, хранится в запертом шкафу научной библиотеки Томского университета, в отделе, который студенты называют «адом». Учитель охотно согласился написать к книге предисловие. Вот как оно заканчивалось:

«Вы сделали жизнь искусством, трудной наукой, сложной машиной, великолепной организацией. Не удивляйтесь же встретить и в любви тот же феномен: искусство сменяет наивную непосредственность, разнообразные механизированные ласки — жалкие кустарные поцелуи. Вы приехали на семнадцать минут к вашей возлюбленной, вы смотрите на секундную стрелку, чтобы не опоздать. У подъезда вас ждёт “Форд”, взятый в рассрочку. Вы приехали с биржи, где продали американцу акции Кузнецкого комбината, и едете сейчас на аэродром, смотреть, как Севрюгов будет делать мёртвую петлю. Не ждите, что вас встретит Суламифь. Нет, перед вами окажется прекрасная, усовершенствованная по последнему слову техники машина, которая даст вам за семнадцать минут, по вашему выбору, любое из 13 806 доселе открытых развлечений, не уступая вашему радиоприёмнику, вашему “Форду” и вашей электрической ванне».

Учитель рассказывал нам, что сам организовал в Томске «Общество жриц Ямской улицы для оказания помощи дамам общества». Жрицы, видя, с какой завистью разглядывают их в «Европе» «порядочные» женщины, и желая отплатить добром за филантропические начинания томских дам, обратились к ним, при содействии Учителя, со следующим воззванием:

«Дорогие коллеги! Наша сходная работа одинаково тяжела и требует солидарности. Если мы страдаем от разнообразия, то вы, отданные в вечное пользование зачастую противным вам мужьям, выполняете не менее тяжкую работу. Поэтому мы решили прийти вам на помощь. Тем из вас, кому нравятся ласки мужа, мы предлагаем подать заявления в нашу секцию охраны брака. Мы ограничим право посещения наших заведений такими мужчинами одним разом в месяц, обязав их, кроме того, распиской отдавать жёнам не менее тридцати шести вечеров в год. Но есть среди вас и другие, тщетно тоскующие о радостях плоти. Мы среди тысяч находим одного, двух, трёх: тапёра, приказчика, случайного гостя. Вы же обречены на муки тюрьмы. Для вас мы устраиваем особые тайные “вторники”, обещая соблюдение секрета и проверенное на опыте общество наиболее одарённых из наших гостей».

Учитель говорил, что общество пользовалось неслыханным успехом. И тут сказалась сибирская основательность. Общество было зарегистрировано в губернской управе честь по чести, с уставом, правлением и ревизионной комиссией. В нём состояло ровно двадцать членов, и по закону 1924 года о поддержке общественных организаций оно три года подряд получало государственную субсидию — на «просветительную работу среди женщин». Раскрыли его не милиция и не нравственная лига, а ревизор Министерства финансов, который никак не мог понять, почему в годовом отчёте общества о просветительной работе на статью «Наглядные пособия» израсходовано больше, чем на все томские школы. Председательницу арестовали. Через месяц её оправдали присяжные — шесть маслоделов и шесть мещан, — потому что устав был безупречен, а отчёты сданы вовремя. Говорят, при оглашении приговора заплакала половина зала, причём женская.

Впрочем, Ямская улица была для Учителя не только анекдотом. Однажды, на старом томском кладбище, он остановил нас у одной могилы, над которой стоял каменный памятник с чайкой, распахнувшей крылья.

«Здесь лежит Нина, — сказал Учитель. — Вы, конечно, слышали эту историю, в Томске её знает каждый извозчик. В девяностые годы прошлого века здесь жили три девицы: Катя, Нина и Настя. Днём они принимали гостей, как все, а ночью были эсерками. Они выбирали себе жертв из богатых купцов и царских сановников, грабили их, а иных и убивали, а деньги отдавали на революцию. Губернатор поставил на ноги всю полицию и полгода не мог понять, отчего у него в губернии мрут действительные статские советники. Республика, которой они не дождались, прославила их как героинь борьбы с царизмом. На могиле Нины каждый год, в годовщину, возлагают венки от трёх правящих партий, и все три спорят, к какой из них она принадлежала бы. А по всему Томску до сих пор, вполголоса, рассказывают совсем другие легенды — о сексуальных приключениях Кати, Нины и Насти, о том, как, с кем и в каком номере, и легенды эти, по-моему, гораздо живее надгробных речей. Чего стоит только рассказ

о том, как Нина однажды под Новый год бесплатно отдавалась всему борделю. Вот вам вся сибирская история любви и революции. Днём венки, а вечером анекдоты. Республика чтит героинь и не знает, куда девать шлюх».

Приведу также речь Учителя на Всесибирском съезде по борьбе с проституцией, происходившем в 1936 году в Омске, в здании городского театра, под председательством пастора из Сиэтла и при участии представителей всех трёх правящих партий.

«Милостивые государи и государыни, — сказал Учитель, — я знаю, что мои слова вызовут протесты, быть может, негодование, но я считаю необходимым исполнить свой гражданский долг и выступить здесь решительно в защиту проституции. Наша республика покоится на великом принципе свободы торговли, и я не могу допустить, чтобы вы покушались на эту священную основу маслобойной цивилизации. Я, конечно, всячески уважаю ваше стремление оградить человеческое тело, но никто здесь не станет отрицать наличия у человека разума и духа. Почему же, запрещая проституцию, вы не совершаете дальнейших безумий? Почему не восстаёте против права журналиста продавать себя ежедневно за построчный гонорар? Почему не жаждете сразить депутатов, раздающих избирателям перед выборами различные земные блага, и консультантов, продающих американцам свои знания о Сибири по десять долларов за час? Священно право обладания своим телом и право продавать его за доллары или за облигации. Проституция является одним из наиболее ярких выражений нашей культуры, и я предлагаю не только не бороться с ней, но поставить её под охрану закона, отнести её к числу самых чтимых учреждений наравне с думой, биржей и согласительной комиссией. Прошу немедленно поставить на голосование моё предложение переименовать съезд во “Всесибирское общество насаждения проституции”».

Голосования не было. При содействии земской милиции в бело-зелёных кокардах Учитель был удалён из зала заседаний.

Но заметим для справедливости, что съезд, вопреки всем усилиям американских миссионеров, так ничего и не запретил. Резолюцию о запрещении три месяца согласовывали и, наконец, передали в подкомиссию, где она лежит рядом с законом о сибирском наречии. Проституция в Сибири так и не запрещена. Практичные сибирячки, как объяснила мне однажды одна из жриц Ямской улицы, считают, что всё равно, на чём зарабатывать: кто на масле, кто на облигациях, кто на американцах, а кто на себе. И, по-видимому, это в Сибири неистребимо, как клещ и как согласительная комиссия.

Учитель часто говорил нам о земной любви грядущего человека. Он как бы рассекал тяжёлые туманы веков, и мы, изумлённые, трепетали перед неописуемым величием человеческих тел, радостно соединённых, — не тех тел, дряблых и бесформенных, что мы привыкли видеть в Знаменской бане по субботам, а новых, суровых, как сталь, и всё же вольных. Он говорил нам, что путь к этим празднествам длинен и труден. Он идёт через отрицание любви, через поношение тела, через скрытые тканями тела и совокупления по разверстке. Будет час, когда мужчина вместо поцелуя даст женщине аптекарскую пробирку. Но затем он или его правнук соединит смутные атавистические воспоминания и жажду созидания лучшего из миров в одно блаженное, никогда доселе не бывшее объятие.

ВСЕСИБИРСКИЙ СЪЕЗД
ПО БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ

Глава седьмая. Шура Балаганов

Из Владивостока мы вернулись в Томск, и там, кроме описанных мною назидательных прогулок по молельням, дацанам и подземельям, занимались также обследованием различных сибирских настоек — облепиховой, кедровой, черёмуховой, рябиновой на коньяке — в трактирах на Базарной площади, сбором пожертвований на памятник Ядринцеву из каслинского чугуна и золота пятьдесят шестой пробы (для этого Дамдин обходил с кружкой шляпные и кондитерские магазины, ударяя в кастрюлю и выкрикивая «Ура областникам!»), наконец, совместными выступлениями с Давидом Бурлюком, теперь уже художником «Стандард Ойл». Выступления эти, впрочем, были однообразны и состояли в выражении бурных восторгов перед сломанным «Фордом» мистера Пибоди, который Бурлюк объявил «последним произведением американского кубизма» и выставил в витрине Общества любителей художеств рядом со своими керосиновыми бабами.

Так шли дни, лёгкие и беспечальные. Приближалось лето. Все молельни были осмотрены и все настойки испробованы. В кружке Дамдина бренчали уже четыре рубля, одиннадцать копеек и обручальное кольцо из американского золота, великодушно снятое с пальца вдовой Курочкиной после её неудачного брака. А Бурлюк и сломанный «Форд» нам окончательно надоели.

В жаркое майское утро мы решили поехать на трамвае в Заисточье, не зная толком зачем: не то поглядеть на Татарскую слободу и Красную мечеть, не то выпить у татарина кумыса, не то просто проститься с весенним Томском, потому что Учитель уже поговаривал о большой поездке. Сели мы на Почтамтской, в моторный вагон, выкрашенный в бело-зелёный цвет, с медной табличкой «Построен на средства городской управы. Спасибо, Треухов!». Вскоре, однако, вагон остановился, не доехав до Каменного моста. Мы недоумённо стали поглядывать то на провода, которые все были на месте, то на конец улицы, откуда мог идти навстречу очередной крестный ход или очередная демонстрация и откуда никто не шёл. А вагоновожатый, высунувшись по пояс, пылко и красноречиво ругался с каким-то человеком, лежавшим поперёк рельсов и явно не желавшим освободить путь.

Вагоновожатый приводил свои доводы: трамвай — не извозчик, объехать он не может, у него расписание, утверждённое управой, в вагоне пассажиры, среди них американец, на рельсах лежать не полагается, а ездить по ним можно. Человек лежащий — тоже свой, томский — возражал: сегодня жарко, его уже два раза поднимали — сначала милиционер, потом дворник, — и встать в третий раз ему гораздо труднее, чем трамваю постоять. К тому же рельсы тёплые, а земля ещё холодная, и он, как гражданин республики, имеет право выбирать, на чём лежать. Спор продолжался долго, потерял свой первоначальный практический смысл и превратился в поединок красноречия, достойный Сибирской думы в её лучшие годы. Кондукторша поддерживала вагоновожатого, ссылаясь на правила пользования городским трамваем, параграф одиннадцатый. Пассажиры разделились. Один старичок в пенсне требовал соблюдения закона, бабы с корзинами — милосердия, а студенты восточного отделения — вынесения вопроса на согласительную комиссию. Мы вылезли из вагона и тоже, правда робко, как дилетанты, подавали свои реплики.

Мистер Пибоди пробовал соблазнить лентяя долларом. Лежащий ловко, большим пальцем босой ноги подобрав брошенную в сторону монету, переложил её в рот, но не двинулся с места. Тогда вагоновожатый, впав в предельный пафос, начал грозить ему всем, что знал: Троицким собором, который нашлёт на него недород и клеща; земской милицией, которая составит протокол на три листа; мировым судьёй, который присудит штраф; Министерством путей сообщения в лице господина Устругова; президентом Новосёловым; трамвайными колёсами, наконец. Так как всё это выходило из рамок отвлечённой дискуссии, лежащий не счёл

возможным возражать. Он сладко потянулся, зевнул, почесал пуп сквозь дыру в рубахе и плюнул высоко и метко в вывеску над вторым этажом соседнего дома: «Акушерка Ф. Гольдинер. Принимает круглосуточно».

Этот жест окончательно покорил Учителя. Он и без того выказывал во время спора признаки умиления. Но тут он подошёл к лежащему ближе, наклонился, посмотрел ему в лицо — и вдруг лицо Учителя странно дрогнуло, как дрогнуло оно в Урге у памятника.

Лежащий открыл глаза, посмотрел на Учителя снизу вверх, на фуражку с белым верхом, на японский шарф, и сел на рельсах.

«Командор!» — сказал он хрипло.

«Шура, — сказал Учитель очень спокойно, — вы обознались. Командоров в Сибири нет. Есть консультанты».

«Командор, — повторил лежащий, не слушая, и на глазах у него показались слёзы. — Я же вас в Маньчжурии… Я же думал… А миллион? А Корейко?»

«Никакого миллиона, — сказал Учитель. — Никакого Корейко. Солнечный удар, Шура. Вставайте, вы задерживаете движение городского транспорта, а это статья сто четырнадцатая Устава о благоустройстве».

И, дружески ткнув его носком испанского сапога в живот, прибавил:

«Хочешь поехать на трамвае и вообще жить со мной?»

Лежащий задумался. Потом, видно, думать устал, снова плюнул в ту же злополучную вывеску, не говоря ни слова, поднялся, вошёл в вагон и сел на самое удобное место — на то, где только что сидел мистер Пибоди. Потом он дружески сказал Учителю:

«Мне очень жарко, командор, но вы мне нравитесь. Садитесь-ка рядом».

Трамвай тронулся. Вагоновожатый перекрестился. Кондукторша спросила с лежавшего три копейки за проезд, и Учитель заплатил. Так, сам о том не думая, вообще вследствие высокой температуры и благородной лени ни о чём не думая, Александр Балаганов с этой минуты стал пятым учеником Учителя.

Признаюсь, сцена узнавания меня смутила, но ненадолго. Я быстро всё понял. Передо мной был человек, который наслушался тех самых томских басен о стульях, брильянтах и миллионе, которые я пересказал во второй главе, и, по бедности воображения и по богатству досуга, поверил, что сам в них участвовал. Так Дамдин верит, что Шуудан умеет носить письма в Америку. Командор, Маньчжурия, миллион, какой-то Корейко — это была мифология, творимая на наших глазах на трамвайных рельсах Почтамтской, и я посмотрел на рыжего бродягу с тем снисходительным уважением, с каким этнограф смотрит на сказителя. Учитель, заметив мой взгляд, ничего не сказал. Только поправил шарф.

По дороге Учитель заметил, что новый его питомец одет чрезвычайно своеобразно, а именно обмотан различным тряпьём, которое в зависимости от местонахождения важно именовалось «рубахой» или «штанами». Он предложил ему зайти в пассаж Второва и выбрать одежду по своему вкусу. Шура оказался очень скромным. Он решительно отказался от костюма («В костюме, командор, меня сразу спросят паспорт»), но взял капитанскую фуражку с белым верхом, точь-в-точь как у Учителя, сибирскую собачью доху мехом наружу, несмотря на май, и, наконец, кальсоны «зефир» лососинного цвета в изумрудную полоску, которыми немедленно, прямо в примерочной, заменил тряпицы, исполнявшие роль штанов. Облачённый в такой своеобразный наряд, он вдвойне почувствовал симпатию к Учителю и даже какие-то угрызения совести, потому что воскликнул: «Командор, я ваш гид!» А на углу Татарской, возле двухэтажного купеческого дома, недавно обгоревшего, схватил Учителя за рукав:

«Глядите, развалины Томска!» — после чего в изнеможении откинулся на скамейку и попросил гривенник на кружку пива.

В гостинице «Россия» предупредительный портье, сдержав изумление при виде живописного постояльца в дохе и фуражке, подбежал к нам с анкетой и попросил её заполнить. Но

странный постоялец презрительно заявил, что он, слава Богу, почерк имеет плохой, писать не любит и учиться этому скучному делу не станет даже за вторую пару таких прекрасных кальсон.

«Имя?»

«Балаганов. Александр».

«Откуда изволили прибыть?»

«Днём лежу на Почтамтской, на трамвайных путях, ночью — под Каменным мостом через Ушайку, с левой стороны, если от Базара».

«Род занятий?»

Он на мгновение смутился, поглядел себе на ноги, выпрямился, набрал воздуху и начал с достоинством:

«Я сын…»

Учитель, не глядя, наступил ему на ногу испанским сапогом.

Шура оглянулся, словно потерял что-то, и гордо закричал:

«Никакой!»

Мистер Пибоди, Васисуалий Андреевич и даже Дамдин очень заинтересовались выбором Учителя и начали всячески интервьюировать Шуру, который разлёгся на диване курительной комнаты, не снимая дохи. Мистер Пибоди интересовался главным образом отношением Балаганова к Библии и к доллару. Но Шура проявил и к тому и к другому величайшее равнодушие. Впрочем, узнав, что доллар — это нечто вроде рубля, только лучше и живее, заявил, что от долларов не отказывается, но полагает, что не Балаганов должен их добывать, а, приблизительно, наоборот.

«Однажды у меня были доллары, — сказал он и посмотрел на Учителя. — Пятьдесят тысяч. Их потом изъяли по протоколу. Протокол был очень красивый, на трёх листах, с печатью».

Я переглянулся с Лоханкиным. Мифология обрастала подробностями.

Он часто думал, продолжал Шура, что какой-нибудь американский осёл найдёт его на Почтамтской и даст ему тысячу долларов. За что? За то, что он настоящий сибиряк, за то, что он Шура Балаганов, и вообще… у этих ослов (жест в сторону мистера Пибоди) нет Сибири, но есть уйма денег. Кроме того, у него были и другие планы — например, жениться на богатой американке.

«Вы американец? Правда? Может быть, у вас есть дочка, которая захочет выйти за рыжего и красивого сибиряка, за Шуру Балаганова? Нет? Жаль. А скажите, ваши родители не из Канзаса? У меня, говорят, был дядя, уехал в Канзас в девятьсот пятом году, разбогател на свиньях. Может, вы мой дядя? Нет? Ну что ж, и без этого тоже хорошо. Дайте мне гривенник. На две копейки можно съесть у Гостиного двора пирожок с ливером, на две — стакан кедровых орехов, на четыре — кружку пива, на остаток — две папиросы “Сибирская Ява”. Или на все восемь пива, а у пассажа Второва подобрать дюжину великолепных окурков: американцы, — он опять кивнул на Пибоди, — не докуривают. Засим — под мост, и, уверяю вас, жизнь превосходная штука, а ваши доллары ерунда».

Произнеся такую длинную речь, Шура предался своему любимому занятию, то есть начал плеваться, решив окружить сложным узором ботинки мистера Пибоди. Американец почувствовал крайнее неудобство и хотел было уйти, но Шура его остановил:

«Не бойтесь! Я не буду Шура Балаганов, если задену кончик вашего ботинка. Я в исправдоме на спор в рублёвую монету с трёх саженей попадал».

Но отдаться вполне этому мирному занятию ему помешал Васисуалий Андреевич, проникновенным голосом начавший допытываться:

«Скажите, у вас бывают муки, терзания?»

«О да, в особенности осенью, когда кедровый орех пойдёт. Бывает, всю ночь не сплю от колик».

«Нет, духовные муки! Как бы вам объяснить… Чувствуете ли вы иногда потребность всё уничтожить, сжечь старый хлам, переродиться?»

«Ещё бы! Я, — Шура оживился, — обожаю Масленицу, когда на Базарной площади жгут чучело, а заодно старые сани, рассохшиеся бочки, соломенные тюфяки, всякую рухлядь. Как полыхнёт — до самого Лагерного сада видно! А в Заисточье ещё снежный городок берут. Это всё в честь Масленицы, а раньше, говорят, в честь какого-то бога».

«Вот вы говорите “в честь бога”. Значит, вы чувствуете, что есть нечто над нами, провидение…»

«Ну конечно! А тираж займа? Никто, слышите, никто, даже сам президент Новосёлов, не знает, какие номера выйдут!»

Шура очень любил тиражи выигрышного займа индустриализации. Однажды в складчину, с двумя грузчиками, он выиграл четыре рубля. А почему всё так устроено — вчера выиграл, сегодня встретил богатого осла, завтра, может быть, помру, — об этом думать не стоит. Думать вообще очень трудно и скучно, тем более в такую жару и в дохе. Лучше будет, если Васисуалий Андреевич принесёт две папиросы, ляжет рядом, закурит и будет плевать вокруг второго ботинка этого бездарного американца, у которого нет дочери, который не дядя, а так — что-то с долларами.

Дамдин сказал:

«Вы не знаете, почему господин взял его с собой, а я знаю. Он, наверное, как я, делает богов. Скажи, Шура, ты умеешь сделать бога?»

Шура вознегодовал:

«Ну кто этим теперь занимается! У нас их и так понаделали. На каждого сибиряка два бурхана, три иконы, один Рерих и один Потанин на стенке над комодом. Ты не думай, я в Бога верю, — Шура даже перекрестился, на всякий случай дважды, — но я вообще ничем не хочу заниматься, а уж тем паче таким скучным ремеслом. Если бы я делал что-нибудь, то только подтяжки. Это удивительная вещь, подтяжки. Я их никогда не носил, но видал на одном кассире в Иркутске и даже пытался ночью снять, только он проснулся. Когда мне приходится вставать, я не могу разговаривать, потому что если я начну разговаривать, то должен махать руками, а если я буду махать руками, мои штаны останутся на мостовой. Когда я не лежу, я должен их держать, это очень утомительно. Иногда я отпускаю их вроде как на честное слово, но у них нет ни чести, ни совести — лезут вниз. Нет, лучше подтяжек ничего не придумаешь. Знаешь что, если тебе не жарко и ты обязательно хочешь чем-нибудь заниматься, брось своих богов и займись подтяжками. Только бело-зелёными, под флаг. Их будут брать нарасхват».

Из бесед в последующие дни я узнал отдельные страницы биографии Шуры. Выяснилось, что три события наиболее его потрясли: как он снабжал мощами старушку в подземелье, как его оштрафовали за картину и как он делал революцию.

Мощи он поставлял старушке, которая, как помнит читатель, продавала в томских подземельях косточки старца Фёдора Кузьмича. Он носил ей кости с городской бойни на Тверской, по копейке за кость, а старушка, отмыв их в Ушайке и завернув в бумажку от карамели, продавала их богомолкам по рублю. Шура рассказывал об этом без всякого раскаяния, даже с некоторым коммерческим удовольствием. «Времена, командор, такие, — сказал он. — Раньше я был дурак, а теперь, как все, сибиряк». Я заметил, что Учитель на этих словах впервые посмотрел на него не с умилением, а с печалью.

С картиной было хуже. Её писал с Шуры один рериховский художник из Общества друзей Шамбалы и назвал «Махатма на Почтамтской». Написал, как полагается: синие горы, лиловый закат, луна, как блин, а в середине Шура в простыне, с просветлённым лицом. Шура потребовал, чтобы художник, во-первых, нарисовал его в капитанской фуражке, о которой он давно мечтал, во-вторых, приделал к горам пальму и птицу, в-третьих, луну заменил тиражной таблицей займа. Художник отказался и вместо этого предложил Шуре рубль. Шура рубль взял, но

подошёл к картине и, вежливо отстранив художника, сам принялся за дело. Художник завизжал, как будто Шура его душил. Не успел Шура замазать лиловые горы прекрасной зелёной краской, как пришли два милиционера в бело-зелёных кокардах. Бить его они не стали — правовое государство, — а составили протокол на трёх листах, с приложением испорченной картины в качестве вещественного доказательства, и мировой судья вежливо оштрафовал его на три рубля. «Это, командор, было хуже, чем если бы побили, — сказал Шура. — Побьют — и забыл. А тут три рубля и подпись. Подпись — это навсегда».

А вот делать революцию было совсем не больно и очень весело. В прошлом году, в июле, «когда в Испании кого-то застрелили» — это был, как я понял, мятеж генерала Франко, — в Томске устроили сразу две демонстрации: анархисты шли по Почтамтской за Испанию, а молодые фашисты из «Нашего пути» шли им навстречу против Испании. Шура шёл в обеих колоннах по очереди. Он повалил три скамейки в Новособорном сквере, выпряг извозчичью лошадь, разбил фонарь у Пассажа и пел, кричал и свистел до самой ночи, причём одинаково охотно за обе стороны. «Это лучше Масленицы, командор, — говорил он. — Жаль только, что скоро кончилось. Милиция разогнала обе колонны, по закону о собраниях, параграф шестой, у них маршрут был не согласован».

Как-то мы катались втроём — Учитель, Шура и я — по Томску на извозчике. Шура попросил извозчика поехать на Почтамтскую. Там, у трамвайной остановки, он слез, снял доху и фуражку, отдал их на моё попечение, а сам в полосатых кальсонах лёг на прежнее место, поперёк рельсов, и занялся своей излюбленной вывеской, попросив нас оставить его хотя бы на часок.

«Они удивляются, — сказал мне Учитель, глядя, как вагоновожатый подходящего трамвая уже высовывается по пояс, — почему я вожу с собой этого босяка. Но что мне любить, если не динамит? Шура не Дамдин. Дамдин верит, а Шура всё видел и через всё прошёл. В его руках перебывали все чужие кошельки республики, все бумажники, все чемоданы, все паспорта, кроме собственного. Он сидел в исправдоме, где читают лекции о кооперации, и вышел оттуда, не поверив ни одной лекции. Он предстал перед судом присяжных — девять маслоделов! — и они его пожалели, а он их не поблагодарил. Он видел миллион и не взял себе ни рубля, кроме тех, что у него потом изъяли по протоколу. Посмотри на него: его позам позавидует любой депутат думы, а его красноречию — лучший присяжный поверенный Томского окружного суда. Он всё знает и всё может, но предпочитает плеваться, потому что ненавидит крепко и страстно всякую должность и всякую организацию. Даже профсоюзную, а это, согласись, уже философия. Он всё делает наоборот. Ты скажешь — клоунада? Может быть. Но в стране, где на каждого гражданина заведена анкета, на каждую покупку — декларация, а на каждую декларацию — форма № 6, не на рыжем ли горят последние отсветы свободы? Он единственный человек в республике, которого не учтёт ни одна статистика. Получив фуражку, он вежливо отдаёт её тебе. В этом жесте — грядущее возрождение мира. На великой фабрике фуражек, не забудь об этом, Шура будет с нами — как хаотическая любовь к свободе, как баночка с динамитом в саквояже, рядом с бриолином и одеколоном “Сакура”».

Он помолчал и прибавил тише, так что я едва расслышал:

«Только вот циничным он раньше не был. Это уже не он, это время».

Шура, лёжа на рельсах, одним ухом слушал нашу беседу. Трамвай перед ним звенел, вагоновожатый кричал. Шура хитро подмигнул нам и сказал:

«Я знаю, командор, вы опять что-то затеваете. Как тогда, с миллионом. Что ж, я не прочь, это ведь весело. Но вообще-то я ваш гид. И гривенник на папиросы».

СПАСИБО, ТРЕУХОВ!
АКУШЕРКА Ф. ГОЛЬДИНЕР

Глава восьмая. Различные суждения Учителя об искусстве

Учитель не любил беседовать пространно об искусстве. Он одобрительно относился к разговорам деловым — о достоинстве красок, о корнях слов, о сортах кирпича и сроках сплава леса по Томи — и не выносил рассуждений об искусстве в плане метафизическом, полагая, что этим приличествует заниматься лишь землемерам, подрядчикам и художественным критикам. Но так как организующие и разрушительные силы искусства были ему хорошо известны, ему приходилось при различных обстоятельствах выявлять своё к нему отношение, тем более что среди двадцати трёх ремёсел, изученных им за жизнь, были поэзия и архитектура.

Я разыскиваю теперь рукопись его поэмы «Квитанция № 41 207». Номер этот, как сказал мне однажды Учитель, был выбит на квитанции, которую ему некогда выдала барышня в Приёмной Президента вместе со словами «Ваше прошение будет доложено». По отрывкам, которые Учитель читал мне на память, я могу судить о достоинствах этой единственной эпической поэмы современности, посвящённой культу облигаций выигрышного займа, декларации по форме № 6, рекламе «Фордов» в рассрочку и грандиозной борьбе трёх совершенно неотличимых партий. Если рукопись не погибла, я издам её как в оригинале — она написана по-турецки, на языке, на котором в Сибири, кроме автора, никто не читает, — так и в переводах на русский и на сибирское наречие.

В области архитектуры я видел два проекта сооружений, сделанных Учителем. Первый представлял собой подвесную дорогу через Томь — от Лагерного сада на правом берегу к Сенной Курье на левом. Над рекой должны были плыть стеклянные корзины на стальных тросах, перевозя по воздуху тысячи томичей на покосы, на пляж и на гулянья, а мачты дороги возвышались бы над Томью, как гигантские железные цветы с блистающими чашечками. Учитель говорил, что за Томью нет ничего, кроме Курьи, но именно поэтому туда и надо строить дорогу: если на том берегу ничего нет, туда особенно хочется. Другой проект представлял собой подземные общественные уборные на Базарной площади, рассчитанные на тысячу посетителей одновременно, с электрическим освещением, кафельными стенами и мраморными перегородками. Учитель считал их своим лучшим произведением и самой дерзкой утопией нашего века, потому что в городе, который двадцать лет обсуждает канализацию в городской думе, подземный храм гигиены есть мечта более несбыточная, чем Шамбала. Увы! Папка с работами погибла в день трагической смерти Учителя.

Я указал на труды Учителя, чтобы всем было ясно, что в его лице мы имеем дело не с дилетантом, а с человеком больших знаний и опыта. Большинство суждений Учителя за последние годы стало достоянием общества. Различные «новаторы», барахтающиеся в лапах старого, ходили по пятам за Учителем, подхватывая его краткие замечания, и по своему природному тупоумию, обкорнав его мысли, выдавали их за свои. Так, один столичный критик из эмигрантов, выдающий себя за поэта, а в действительности пиликающий на скрипке в кинематографе на Почтамтской, писал туманные статьи о живописи и существовал исключительно тем, что на выставках Бурлюка поджидал Учителя у входа и записывал его реплики на манжете. Учитель, не зная, что такое тщеславие, и заботясь лишь о распространении своих идей, не боролся с подобными явлениями. Мне он даже завещал никогда никого в плагиате не обвинять и не писать никаких писем в редакцию с «необходимыми опровержениями». Поэтому я не буду здесь восстанавливать различные суждения Учителя об искусстве, которые известны хотя бы в искажённом виде, а укажу лишь на некоторые практические его выступления.

Чтобы эти выступления стали понятны, надо напомнить о великом пренебрежении Учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая в «Европе» с мистером Пибоди, кото-

рый под влиянием облепиховой расчувствовался и заявил, что больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту, Учитель чистосердечно ему признался:

«А я предпочитаю эти пельмени».

Учитель говорил, что смысл существования искусства в том, что оно, как и всякие другие рычаги культуры, способствует организации людей. Так было во все эпохи. Искусство спаивало отдельных людей в тесные соты — национальные, религиозные, сословные — для совместной любви или ненависти, для труда или для борьбы, словом, для жизни. Не только Тобольский кремль или Софийский собор, но и кержацкий распев, и алтайский кайчи, который три ночи подряд поёт под топшур одну и ту же поэму о богатыре, и икона какого-нибудь безымянного иконописца из Верхотурья — всё это лишь цемент грандиозного сооружения, топливо для поддержания быта.

«Какой же неостроумной шуткой, каким жалким харакири является гордый разрыв искусства с жизнью! Искусство торжественно меняет своё назначение: одна лошадь выпрягается из колесницы и пробует нелепыми прыжками замедлить её ход. Искусство больше не хочет организовывать жизнь. Наоборот, оно будто бы стремится увести человека из жизни. Но так как выше положенного, будь ты хоть гений, не подпрыгнешь, все эти судорожные прыжки остаются в пределах самой жизни и являются лишь её посильной дезорганизацией. Так началась и так проходит борьба искусства с жизнью. Жизнь применяет сотни других организующих средств — радио, облигации, профсоюзы, согласительную комиссию. А искусство? Искусство превращается в бирюльки, в спорт немногих посвящённых, в различные фазы душевного заболевания, в послеобеденную прихоть мистера Пибоди, менее необходимую ему, чем рюмка облепиховой или мягкая подушка. Искусство, трижды презренное, издыхает, по профессиональной привычке изображая победителя жизни. Издыхает с романтическим кинжалом в руке, издыхает в отдельном кабинете “Европы”, где хозяин для наиболее просвещённых Пибоди повесил синие горы Рериха, пригласил актрису, читающую стихи на сибирском наречии (ты покраснел — правильно), и джаз-банд, играющий Стравинского в ритме фокстрота. А так как я верен древней мудрости, гласящей, что живая собака лучше дохлого льва, то я не плачу, а честно восхваляю пельмени. Со сметаной или даже без оной».

В прошлом году журнал «Сибирские огни», выходящий в Новониколаевске, устроил большую литературную анкету «О достижениях и возможностях сибирской поэзии». Учитель, получив опросный лист, тотчас же послал ответ, который почему-то не был напечатан. Копия его сохранилась, и я её воспроизвожу.

«Получив ваши вопросы, я находился в сильном затруднении, не зная точно, что в наше время называется словом “поэзия”. Правда, мне попадаются среди статей в журналах, а порой и в виде отдельных книжек напечатанные особой типографской манерой рассуждения о политике, о любви, о тайге, о величии областнической идеи и о кофейном сервизе, с созвучными окончаниями строк или без них. Но называть это поэзией так же странно, как называть согласительную комиссию парламентом.

Поэта, впрочем, я встречал. Однажды в Новониколаевске, в зверинце бродячего цирка, я видел клетку с табличкой “Медведь таёжный, свирепый, людоед”. В клетке сидел пёс, обыкновенный дворовый пёс, выкрашенный в бурый цвет. Публика толпилась у клетки и ждала рёва. Пёс, понимая, что от него ждут, вставал на задние лапы и пытался рычать. Получалось тявканье. Публика разочаровывалась и уходила.

Бедный пёс! Бедный поэт! Ты мог бы честно делать своё дело, мирно писать стихи. Но от тебя ждут всего, кроме работы. Во-первых, ты “голос тайги”. Во-вторых, ты “пророк сибирского возрождения”. В-третьих, ты “совесть областничества”, а в-четвёртых, ещё и “непонятый вождь”. Канис вульгарис! Когда хирург режет живот, когда портной кроит жилет, когда профсоюзный секретарь пересчитывает недовес на складских весах, — они работают. А когда ты потеешь над листком бумаги, в сотый раз перечёркивая слово, сбивая крепкую строку, — ты

“творишь”! И кретины вокруг клетки изучают твои внутренности: куда именно ангел вставил пылающий уголь, какая муза вчера спала с тобой и сошло ли на тебя по этому случаю вдохновение или не сошло. Единственное, что тебе остаётся, — принять игру всерьёз, раскрыть пасть и старательно подражать медведю. “Падите ниц перед пророком! На меня нисходит тайга! Тсс!” И бедный, грустный, обиженный пёс, работая под медведя, сквозь прутья хватает зубами за нос зазевавшегося податного инспектора. Браво! За ваше здоровье, господин таёжный медведь!»

Учитель, к ужасу мистера Пибоди, любил часто проводить вечера в обществе томских поэтов, художников и актёров. Он говорил, что человек, столь преданный грядущему, как он, может позволить себе слабость любить две-три старинные безделушки и весёлое племя цыган, бурно доживающее свой век. Томская богема в те годы была пёстрой. Кроме своих — Бурлюка, Агафьи Тихоновны, актёров театра Дежнёва и рериховских художников с их синими горами, — её составляли русские модернисты-эмигранты. Сибирь приютила их в начале двадцатых, когда одни бежали от большевиков, а другие — от эмигрантской нищеты Праги и Парижа, рассудив, что в демократической Сибири хотя бы говорят по-русски. В «Европе» за одним столиком можно было увидеть Николая Асеева и Сергея Третьякова, оставшихся в Сибири после владивостокских футуристических лет, когда они вместе с Бурлюком издавали там журнал «Творчество». За другим столиком сидела Марина Цветаева, приехавшая в Томск к мужу, бывшему офицеру. Она курила папиросу за папиросой, ни с кем не здоровалась и смотрела на сибиряков так, словно они были не людьми, а подтекстом. А раз в год, на гастролях, в Томск приезжал Игорь Северянин и давал в Общественном собрании поэзоконцерт, на который томские телеграфистки шли, как на свидание.

Почти все они были людьми неместными. Сибиряков они понимали плохо, а наречия не понимали совсем, но любили его, как любят далёкий звон. И почти все надеялись, что сибиряки — народ, по их мнению, молодой, дикий, здоровый и не испорченный ни Петербургом, ни Парижем, — воплотят наконец в жизнь их самые странные мечты. Футуристы ждали, что сибиряки построят город будущего из стекла и стали, где по небу будут летать дирижабли с афишами. Цветаева — что сибиряки окажутся теми самыми героями, которых не нашлось в Москве и Праге. Северянин — что в тайге наконец-то оценят ананасы в шампанском. А сибиряки, как люди практичные, вежливо слушали, покупали билеты на поэзоконцерты, на заработанное строили элеваторы и маслобойни и мечтали совсем о другом: о процветании, о «Форде» в рассрочку и о том, чтобы японцы и Москва оставили их в покое.

«Я люблю их, — говорил Учитель, — за бесцельность, за обречённость, сам не знаю за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив, а все вместе они дряхлее Тобольского кремля. Они страстно любят современность, и это почти патологическое чувство — восторг приговорённого перед эшафотом. Бедные кустари, они бредят машиной: “Фордом”, “Юнкерсом” лётчика Севрюгова, Кузнецким комбинатом. Они тщатся передать её формы в живописи, её лязг и грохот в стихах, не желая думать о том, что под этими колёсами им суждено погибнуть. Машине не нужны придворные портретисты и поэты-фавориты, ей нужно превращение живой плоти в колёса, гайки, винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ, во имя механизации всей жизни. Радуйтесь, мистер Пибоди, — эти великие обормоты умрут вместе с любовью, бунтом и многим другим, а на их месте встанут ваши рекламные щиты с керосиновой бабой Бурлюка. Впрочем, как вам известно из вашей любимой книжки — нет, не той, не чековой, а в сафьяновом переплёте, — умирающее снова воскресает. Но никогда уже эти цыгане не будут живописной сектой, маленькой мятежной кастой. Им суждено, расплывшись, возродиться в далёкие дни освобождённого человечества. А сибирякам, если хотите знать, их мечты вообще не нужны. У сибиряков свои: процветание, “Форд” и чтобы оставили в покое. Это, разумеется, гораздо скромнее, но и гораздо несбыточнее».

Как-то Учитель обратился со следующим письмом к министру народного просвещения Сибирской республики:

«Господин министр! На днях я посетил трогательную и убогую выставку моих друзей — сибирских художников-новаторов в Обществе любителей художеств. Я ознакомился также с новейшей сибирской поэзией и театром. Во мне вызывает величайшую жалость преклонение молодых сибирских художников перед сломанным американским “Фордом”, плохой германской зубной пастой и прошлогодними харбинскими модами. Хотя гигиена находится вне пределов вашего ведомства, я осмелюсь напомнить вам, господин министр, о необходимости своевременно отлучать младенца от груди, в интересах не только матери, но и ребёнка. Отдельные наблюдавшиеся случаи кормления грудью трёх- и даже пятилетних детей заканчивались, насколько мне известно, слабоумием. Лично я мог убедиться в этом на примере кота, живущего у меня под окном на Монастырской. Будучи вдвое больше своей матери, он продолжал её сосать и, оставшись неприспособленным к другим способам пропитания, когда кошка наконец от него освободилась, начал худеть и вскоре сбежал к соседям, которые кормят его варёной нельмой.

Я полагаю, что бессилие и худосочие современного сибирского искусства являются виной тех, кто не только не отлучил его вовремя от материнской груди, но, наоборот, поощрял и продолжает поощрять жалкое высасывание последних капель уже вредоносного молока. Сибирские художники в тысячный раз переписывают Сурикова и Шишкина, сибирские поэты в тысячный раз перекладывают в рифму “Сибирь как колонию” Ядринцева. В итоге мы получили обширные, откормленные стада эпигонов, а рядом с ними отдельных исхудалых, одичавших новаторов, о которых я уже упоминал выше. Будучи гражданином республики и искренне любя её, я осмелюсь предложить вам, господин министр, необходимые, на мой взгляд, меры, чтобы спасти от гибели последующие поколения. Надо решительно отучить детей от соски, а для этого обратить внимание на опасные очаги эпидемии сосания: на старые города, на музеи и на издания так называемых классиков. Тобольский кремль следует немедленно передать под элеватор Сибкоопсоюза, где он наконец принесёт пользу. Музей Томского университета передать под склад керосина “Стандард Ойл”, о чём мистер Пибоди давно мечтает. Сочинения Ядринцева и Потанина выдавать в библиотеках только по рецепту врача и только совершеннолетним. Я убеждён, господин министр, что эти разумные мероприятия вызовут подлинный расцвет сибирского искусства. Примите и проч.».

Отправив письмо, Учитель ожидал приглашения от министра для выяснения деталей, но его не последовало. Впоследствии Учитель поделился со мной опасением, что письмо, хотя и отправленное заказным, затерялось вследствие преданности сибирской почты священным традициям согласительной комиссии.

Таковы некоторые суждения Учителя об искусстве. Впоследствии я расскажу, как он пытался претворить их в жизнь в Барселоне.

Глава девятая. Скромный служащий, или Новое воплощение Будды

Вернувшись в Томск из поездок, мы испытывали некоторые финансовые затруднения. Их вызвали сложные опыты Учителя, отъезд мистера Пибоди во Владивосток встречать танкер из Сан-Франциско, а также необузданные траты Васисуалия Андреевича, который в этот период был настроен особенно пессимистически и проедал в «Европе» последние средства Общества изыскания Человека, объясняя, что раз человека нет, то и экономить не для кого. Желая выйти с достоинством из затруднительного положения, Учитель сказал мне:

«Я знаю одного человека, который давно хочет вложить капитал в солидное дело. Он сам ещё не знает, что хочет. Собирайся, мы едем в Семипалатинск».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.